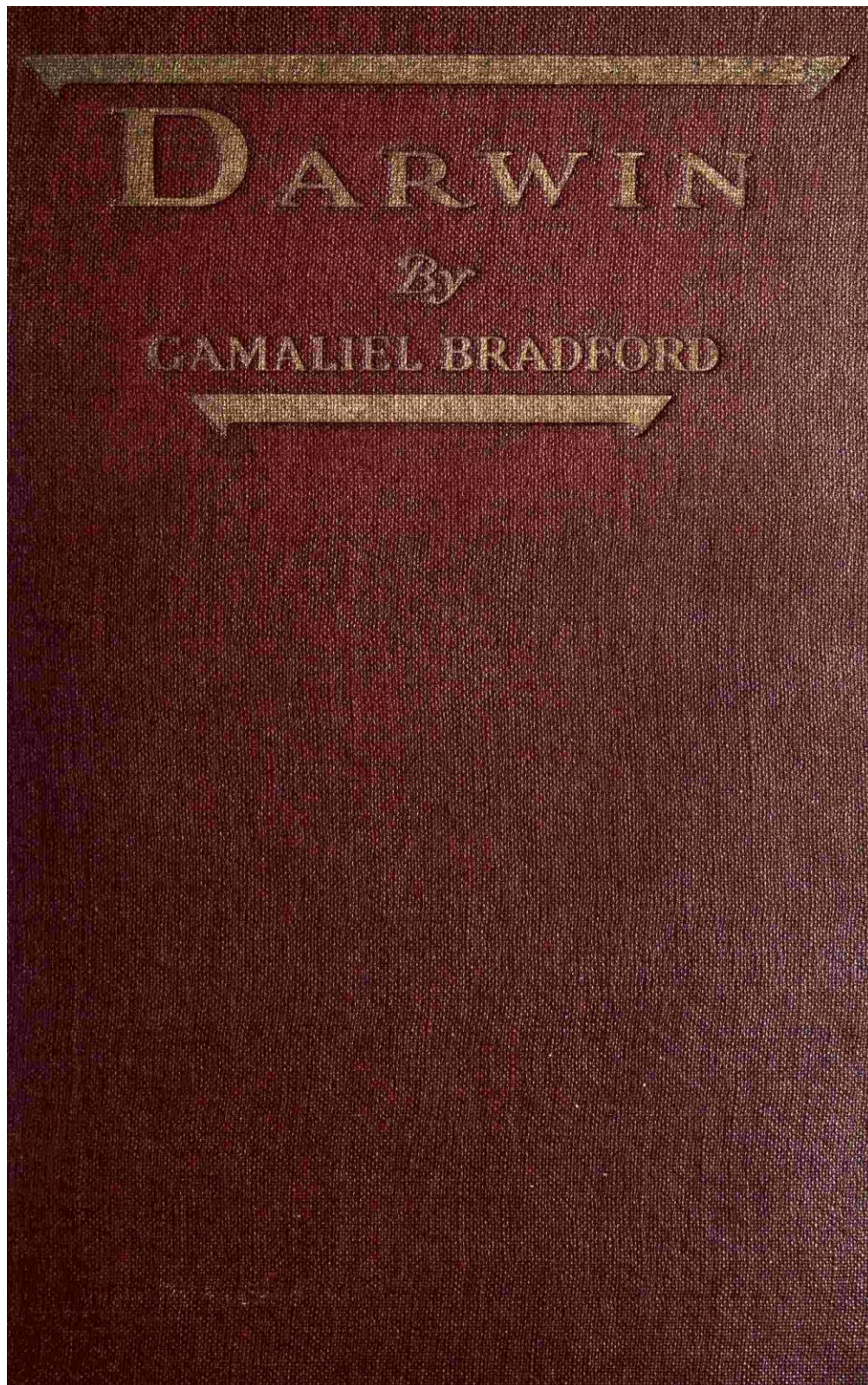


# Дарвин

Гамалиэль Брэдфорд



# Электронная книга проекта " Гутенберг " Дарвина

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

**Название:** Дарвин

**Автор:** Гамалиэль Брэдфорд

**Дата выхода:** 19 мая 2023 [Электронная книга №70803]

**Язык:** Английский

**Оригинальная публикация:** США: Houghton Mifflin Company, 1926

**Кредиты:** Боб Тейлор, Шарлин Тейлор и команда онлайн-корректоров по адресу <https://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом / Американскими библиотеками.)

\*\*\* НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ДАРВИН" \*\*\*

**Гамалиэль Брэдфорд**

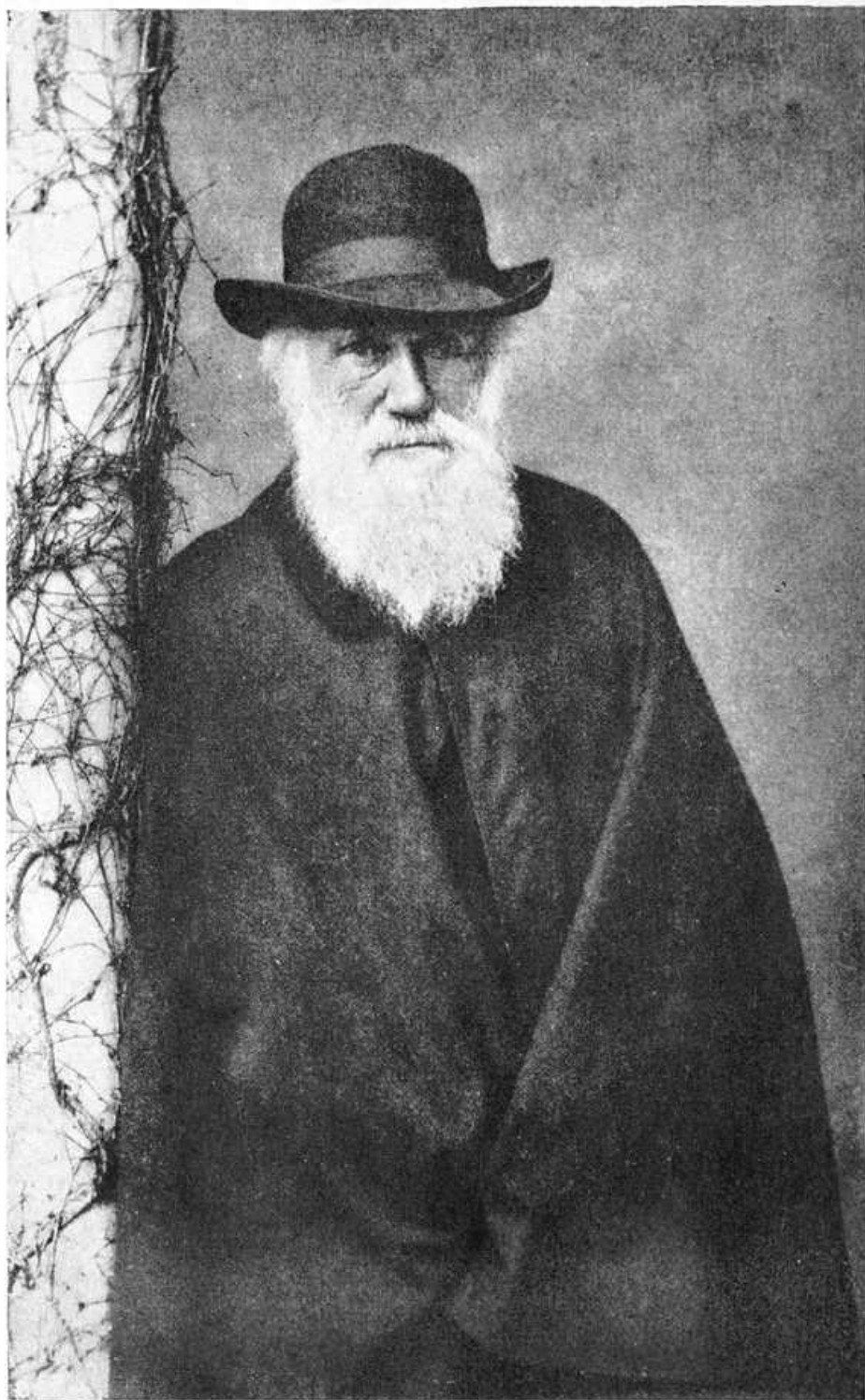
---

ДАРВИН. Иллюстрированный.  
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ ДУШ.  
ДУША СЭМЮЭЛЯ ПЕПИСА. Иллюстрированный.  
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДУШИ. Иллюстрированный.  
АМЕРИКАНСКИЕ ПОРТРЕТЫ. Иллюстрированный.  
ПРОРОК РАДОСТИ.  
ПОРТРЕТЫ АМЕРИКАНОК. Иллюстрированный.  
ПОРТРЕТЫ ЖЕНЩИН. Иллюстрированный.  
ПОРТРЕТЫ СОЮЗА. Иллюстрированные.  
ПОРТРЕТЫ КОНФЕДЕРАЦИИ. Иллюстрированные.  
АМЕРИКАНЕЦ ЛИ. Иллюстрированный.

КОМПАНИЯ HOUGHTON MIFFLIN

БОСТОН И НЬЮ - ЙОРК

# ДАРВИН



*Ch. Darwin*

Ч. Дарвин (подпись)

ДАРВИН

ВУ ГАМАЛИЭЛЬ БРЭДФОРД

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ



БОСТОН И НЬЮ - ЙОРК  
HOUGHTON MIFFLIN COMPANY  
Риверсайд Пресс кембридж

1926

АВТОРСКОЕ ПРАВО, 1926, ГАМАЛИЭЛЬ БРЭДФОРД

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

**Издательством Риверсайд Пресс**

КЕМБРИДЖ, МАССАЧУСЕТС

НАПЕЧАТАНО В США

МАРШАЛЛУ ЛИВИНГСТОНУ ПЕРРИНУ , КОТОРЫЙ НАУЧИЛ МЕНЯ ПИСАТЬ И ДУМАТЬ

*On se lasse de tout sauf de comprendre*

Сент-Бев (из Вергилия?)

## Содержание

|        |                  |     |
|--------|------------------|-----|
| I.     | Наблюдатель      | 3   |
| II.    | Мыслитель        | 44  |
| III.   | Первооткрыватель | 83  |
| IV.    | Проигравший      | 128 |
| Против | Влюбленный       | 168 |
| VI.    | Эсминец          | 208 |
| VII.   | Научный дух      | 248 |
| Индекс |                  | 307 |

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

Фотография Чарльза Дарвина, сделанная в 1881 году на  
издательства Elliott & Fry, Лондон, воспроизведена в "More Letters of Charles  
Darwin"

*фронтисписе*

Чарльз Дарвин в детстве со своей сестрой Кэтрин

4

С рисунка мелом, воспроизведенного в книге "Эмма Дарвин: столетие

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| семейных писем                                                                      |     |
| "Бигль", выброшенный на берег для ремонта на реке Санта-Крус, Патагония"            | 14  |
| Из "Жизни и писем Чарльза Дарвина"                                                  |     |
| "Даунхаус из сада"                                                                  | 44  |
| С гравюры на дереве в журнале Century, воспроизведенной в "Жизни и письмах"         |     |
| Факсимиле страницы из записной книжки 1837 г.                                       | 88  |
| Из "Жизни и писем"                                                                  |     |
| "Этюд в Дауне"                                                                      | 128 |
| С гравюры на дереве в журнале Century, воспроизведенной в "Жизни и письмах"         |     |
| Эммы Дарвин в тридцать один год                                                     | 190 |
| С портрета, написанного Джорджем Ричмондом, Р.А., воспроизведенного в "Эмме Дарвин" |     |
| Чарльза Дарвина около 1854 г.                                                       | 248 |
| Фотография Молла и Фокса, воспроизведенная в "More Letters"                         |     |

## ДАРВИН

## ХРОНОЛОГИЯ

### ЧАРЛЬЗ РОБЕРТ ДАРВИН

Родился в Шрусбери 12 февраля 1809 года.

В Эдинбургском университете, 1826.

В Кембридже, 1827-1831.

Отсутствовал на "Бигле" в 1831-1836 годах.

Женился на Эмме Веджвуд 29 января 1839 года.

Поселился в Дауне, в графстве Кент, в 1842 году.

"Происхождение видов" опубликовано 24 ноября 1859 г.

"Происхождение человека" опубликовано 24 февраля 1871г.

Скончался 19 апреля 1882 года.

ДАРВИН



## ГЛАВА I НАБЛЮДАТЕЛЬ

Я

Любое официальное жизнеописание Дарвина должно быть написано хорошо подготовленным и оснащенным ученым, и действительно, никакая такая жизнь не может быть лучше той, что написана сыном Дарвина сорок лет назад. Но тот, кто, не обладая специальной научной квалификацией, глубоко интересуется характерами и душами людей, всех людей, возможно, будет оправдан в тщательном изучении человека, чье влияние на других людей, как доброе, так и злое, было огромным, и который сам был одной из самых простых, чистых, благородных, искренних, вызывающих любовь, самых христианских душ, которые когда-либо жили.

По удивительному совпадению Чарльз Роберт Дарвин родился в Шрусбери, Англия, в тот же день, 12 февраля 1809 года, в который Авраам Линкольн родился в округе Хардин, штат Кентукки. Дарвин принадлежал к прекрасной старинной английской семье по отцовской линии, а его мать была одной из Веджвудов, прославившихся керамикой. Его дед по отцовской линии, Эразм, был врачом, поэтом и ученым. Отец Дарвина был способным и успешным врачом. Он хотел бы, чтобы его сын был таким же, но у сына не было вкуса к этому. Помимо медицины, рассматривалась церковь, но она казалась столь же бесперспективной. Образование в Эдинбурге и Кембридже дало не очень много. В те дни классика была основой, и этот мальчик мало интересовался классикой. Ему нравились полевые виды спорта и жизнь на свежем воздухе. Больше всего ему нравились животные и растения, нравилось наблюдать и описывать их, а также записывать свои наблюдения, и этот интерес становился все более и более захватывающим.



### ЧАРЛЬЗ ДАРВИН В ДЕТСТВЕ

Со своей сестрой Кэтрин

В 1831 году, в возрасте двадцати двух лет, Дарвин получил должность натуралиста на правительственном корабле "Бигль" и в течение пяти лет отсутствовал в Англии, исследуя южное полушарие и тщательно записывая свои наблюдения по всем научным вопросам, которые позже были опубликованы в его печатном журнале. Вскоре после возвращения домой он женился на своей кузине Эмме Веджвуд, благородной и очаровательной женщине, а чуть позже, в 1842 году, поселился в маленькой деревушке Даун в графстве Кент и жил там до своей смерти в 1882 году. Он унаследовал значительное состояние, которое позже было увеличено за счет его книг. У него была большая семья сыновей и дочерей, всего десять человек, и его жизнь была наполовину хроническим инвалидизмом, наполовину глубокой преданностью научным

исследованиям и размышлениям, или, скорее, эти два элемента были неразрывно переплетены.

В результате своих наблюдений за Биглем Дарвин был одержим идеей, которая, конечно, приходила в голову разным мыслителям до него, от греков до Ламарка, что жизнь не была создана в виде отдельных многообразных форм, а развилась во всем своем разнообразии, включая даже человека, из нескольких форм или даже из одной. Абстрактно развить эту идею было сравнительно просто; но объяснить процесс развития было головоломкой, пока Дарвин не наткнулся на то, что казалось ему ключом к разгадке в том, что он назвал 'естественным отбором', или, как называл это Спенсер, 'выживанием наиболее приспособленных'. В течение двадцати лет Дарвин терпеливо разрабатывал экспериментальное подтверждение этой теории, а затем в 1859 году опубликовал 'Происхождение видов', книгу, которая, по общему признанию, является одной из самых важных во всей истории науки. В течение оставшихся двадцати лет своей жизни он посвятил себя бесконечным дальнейшим экспериментам, и результаты были воплощены в многочисленных томах, главным из которых было "Происхождение человека". Его взгляды с самого начала были предметом ожесточенных споров, и во многих деталях они остаются такими до сих пор и будут оставаться. Но можно с уверенностью сказать, что в научном мире эволюция жизни, или, более технически, модификация по наследству, которая так неразрывно связана с именем Дарвина, является общепринятым принципом, и сам Дарвин имел великий и удовлетворяющий триумф жизни, пока это признание не стало восприниматься как всеобщее, если не универсальное. Он был похоронен в Вестминстерском аббатстве, недалеко от места последнего упокоения Ньютона.

Основой или, во всяком случае, одним из самых фундаментальных элементов характера Дарвина были инстинкт и привычка наблюдать за внешним миром, и мы можем наилучшим образом приблизиться к нему, рассматривая эту привычку в других и в нем самом. Удивительно, как мало большинство из нас видит. Мы живем в мире теней и очертаний грез, вычлняя реальность по кусочкам с помощью удобных абстракций, которые остаются в памяти, как изношенные счетчики тока, и мало похожи на реальный факт. Дерево для нас - это смутно дерево: структура его коры, форма листьев не входят в наш мир. Мужчина и женщина — это просто мужчина и женщина. За исключением случаев, когда нас специально призывают к этому, мы не обращаем внимания на детали внешности, жестов или одежды. Эта расплывчатость, эта абстрактность видения - это то, на что ссылался Теофиль Готье в своей знаменитой фразе: "Я человек, для которого существует видимый мир".<sup>[1]</sup> И он развил свою идею, сказав, что из двадцати пяти человек, которые входят в комнату, двадцать четыре выйдут и не смогут отличить цвет обоев, тогда как он мог отличить это и почти все остальное. Для такого наблюдательного темперамента жизнь - это вопрос визуальных деталей, чувственных подробностей любого рода.

Есть люди, которые смотрят наружу, и люди, которые смотрят внутрь, и, конечно, между двумя крайностями есть разные степени. Некоторые люди полностью поглощены своей собственной внутренней жизнью, своими мыслями, своими эмоциями, своим опытом. Только под давлением необходимости они заставляют себя установить связь с окружающим миром, а затем протестуют, и их мысли, как пружина, возвращаются к внутренним делам, как только давление снимается. Другие живут в стремительном, отвлекающем движении внешнего мира и теряют в этой игре свою собственную судьбу и почти свою идентичность. "Оставьте меня в покое для наблюдения, пока я не превращусь ни в что иное, как наблюдение", - говорит старый поэт.<sup>[2]</sup>

Наблюдение может проводиться с серьезной научной целью. Это может быть для бесконечного развлечения и чистого, неиссякаемого восторга. Как сказал Стерн: "Какое огромное количество приключений может быть пережито за этот короткий промежуток жизни тем, кто всем интересуется сердцем и кто, имея глаза, чтобы видеть, что время и случай постоянно преподносят ему в пути, не упускает ничего, что он может *честно* прибрать к рукам".[3]

Как есть люди, которые естественно наблюдают, так есть и те, кто наблюдает определенные вещи, а не другие. Женщины склонны быть более проникательными наблюдателями, чем мужчины: их чувства более обострены, а разум менее занят. Но их видение обычно ограничено вещами, которые их интересуют. Женщина войдет в дом подруги и расскажет вам о каждой детали обстановки, опишет платье подруги с исчерпывающей точностью. Но она может прогуляться по полям и не вспомнить ни одного цветка или насекомого. С другой стороны, очень великие ученые не пропустят паука в траве, но цвет ленты может ускользнуть от их внимания.

С другой точки зрения наблюдение может быть намеренно исключаящим. Опытный наблюдатель может обнаружить, что общее зрение отвлекает его, и что для того, чтобы следить за своим особым объектом, необходимо полностью исключить из рассмотрения все другие виды и звуки. Брэдфорд Торри обычно говорил, и, без сомнения, это опыт всех натуралистов, что если он отправлялся на поиски особого цветка, то видел только цветы и совершенно не обращал внимания на птиц, в то время как в птичьи дни редкий цветок мог остаться незамеченным.

Естественно, что наиболее распространенный объект наблюдения, тот, который в большей или меньшей степени привлекает внимание каждого из нас, - это человечество. Мы можем быть безразличны к деревьям и камням, но наше удовольствие, наш труд, наше существование зависят от более или менее постоянного изучения человеческих существ, чье существование во всех отношениях переплетается с нашим. Следовательно, с самых ранних летописных времен существовали глубокие наблюдатели за человечеством, люди, которые исследовали человеческий аспект и человеческое сердце, читая через этот аспект, с самым настойчивым рвением и самым неутолимимым восторгом. По яркой фразе одного из самых острых из них, 'я пресытился наблюдательностью'. И даже те, кто менее склонен к нормандизации, считают анализ человеческого субъекта одним из самых неисчерпаемых удовольствий, которые предоставляет этот мир. На протяжении всего изучения Дарвина у меня будет возможность сослаться на одного из современников Дарвина, который в другом направлении исследований был столь же блестящим и значительным воплощением научного духа, Сент-Бева. Как Дарвин посвящал годы за годами терпеливому исследованию тайн мира природы, так и Сент-Бев с тем же терпением, тем же трудом, с тем же бесконечным и всегда разнообразным любопытством исследовал человеческие сердца, все виды человеческих сердец, и изображал их с неизменной точностью и симпатией. Он сказал о себе, используя строго научное выражение: "Я анализирую, я герборизирую, я натуралист душ".[4]

Но, имея дело с Дарвином, мы в основном имеем дело с областью так называемых естественных наук, с различными аспектами материального мира, которые мы склонны обобщать под термином природа. Общие наблюдения за этим миром, конечно, также стары, как человек. Греческий, иврит, египетский, все древние записи содержат научные факты, имеющие значение и интерес в наши дни. Софокл и Вергилий обладали тонким чувством точной красоты птиц и цветов. Видение Чосера и Шекспира было таким же острым, как и у Готье, в той мере, в

какой они предпочитали его использовать. В то же время мы должны признать, что с середины восемнадцатого века возник новый интерес к природе. Литература Руссо и Каупера, Китса и Жорж Санд отражала внешний мир совершенно иначе, чем все, что представлялось ранее, а Линней, Кювье и многие другие заложили основы современного научного исследования, которые девятнадцатый век развивал до тех пор, пока они не затмили все отрасли науки как по теоретическому изобилию, так и по практической полезности.

Конечно, следует признать, что во многих случаях наблюдение за природой практикуется не ради чистого удовольствия от нее, а служит какой-то скрытой цели или интересу. Во-первых, очевидная практическая выгода от такого наблюдения. За последние сто лет сельское хозяйство претерпело полную революцию, и эта революция была вызвана различными достижениями научных исследований. Обширные исследования Дарвина показали тесную связь между теориями ученого и практическими экспериментами селекционера.

С другой стороны, есть наблюдение художника. Рескин давным-давно указал, насколько тонким, изощренным было видение великих художников, насколько совершенным было их мастерство в передаче точного чувственного впечатления от природных объектов. Точно так же часто не задумываются о том, каким богатством точных сведений мы располагаем о поэтах и романистах. Готье, для которого существовал видимый мир, был поэтом. Он видел формы, контуры и цвета, видел, как они передаются словами, которые интерпретировались настолько идеально, насколько это возможно словами. Великие французские романисты, которые следовали за Готье и учились у него, были в таком же роде замечательными наблюдателями и записывателями. Сам Дарвин не побрезговал воспользоваться наблюдением английской писательницы миссис Олифант и называет ее "превосходным наблюдателем".<sup>[5]</sup>

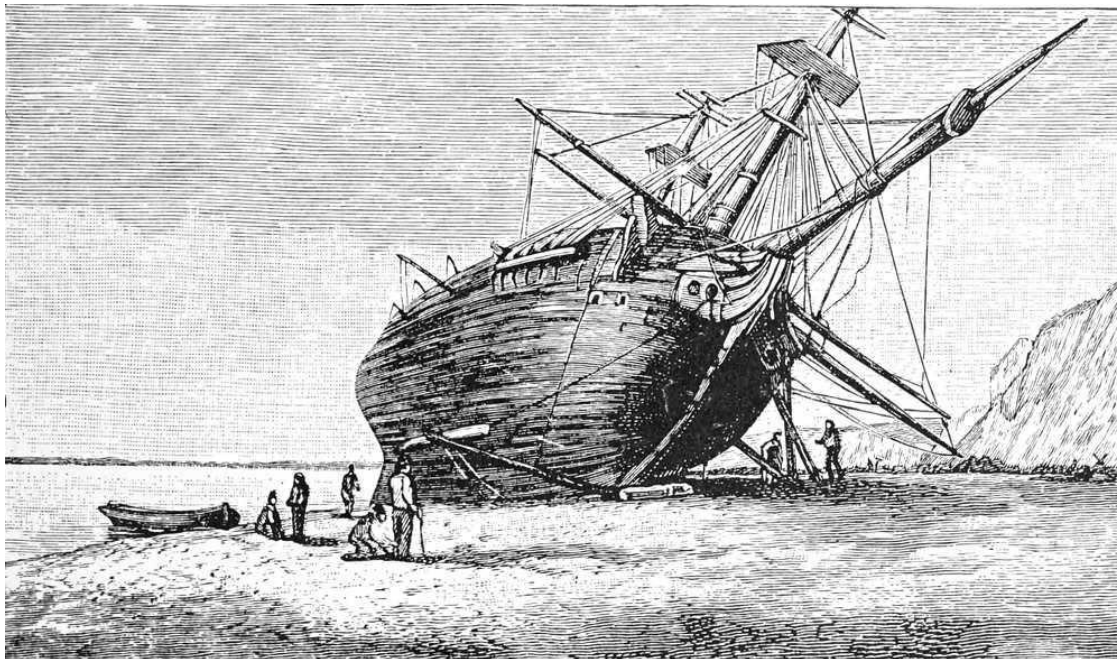
Но существует такая вещь, как наблюдение из чистой любви к нему, которое не используется ни для улучшения породы кур или помидоров, ни для создания эффективных и ходких копий, ни даже для создания и поддержания теорий об организации космоса. Есть чистое, неиссякаемое наслаждение просто жить с насекомыми и птицами, сливать свое собственное существование, свою душу с таинственным изобилием и экстазом вселенской жизни, не думая ни о какой скрытой цели, которую можно достичь каким бы то ни было способом. Уайт из Селборна чувствовал природу подобным образом. То же самое сделал Ричард Джеффрис. То же самое сделал французский натуралист и наблюдатель Фабр. Я знаю несколько произведений, в которых больше очарования личного восторга, чем в "Натуралисте амазонок" Бейтса, книгу, которую я читал, перечитывал и буду перечитывать снова. Бейтс интересовался дарвиновскими теориями и работал над ними. Но его страсть к лесной жизни была совершенно независима от каких-либо теорий, и выражена она с привлекательной, абсолютной простотой, без малейшей претензии на литературный орнамент или эффект.

Нашим лучшим американским примером такой жизни в природе, и, возможно, лучшим примером где бы то ни было, является Генри Торо. У Торо были свои размышления, и некоторые люди наслаждаются ими. Но кажется, что ни одно другое человеческое существо никогда не оставляло записей о таком полном самоотречении во внешнем мире, как у Торо. Его душа обращается не только к птицам и цветам, она и есть душа птиц и цветов, и он никогда, никогда не делает наблюдений, которые служили бы какой-то цели. Он просто существует во вселенском существовании ради радости от этого: "Я отдал себя природе; я прожил так много весен, и лет, и осени, и зим, как будто мне больше нечего было делать, кроме как *проживать* их

и впитывать все, что они для меня приготовили; я провел пару лет, например, главным образом с цветами, не имея другого столь обязывающего занятия, как наблюдать, когда они распускаются; я мог бы позволить себе провести всю осень, наблюдая за меняющимися оттенками листвы. Ах, как я преуспел в одиночестве и бедности!"[6]

## II

Из многочисленных записей о простых естественных наблюдениях и опыте немногие более очаровательны, чем "Дневник путешествия на "Бигле" Дарвина, в котором он отмечает то, что видел и слышал на суше и на море в те годы приключений в южном полушарии. На протяжении всей этой книги, как, впрочем, и во всех его книгах, очевидно, что инстинкт и привычка наблюдать были врожденными и постоянными, и все те, кто пишет о Дарвине, считают этот инстинкт по крайней мере основой его научного величия.



### "БИГЛЬ" ПРИЧАЛИЛ К БЕРЕГУ ДЛЯ РЕМОНТА НА РЕКЕ САНТА-КРУС, ПАТАГОНИЯ

Эйса Грей, посвятивший свою жизнь ботанике, пишет: 'Каким мастерством и гениальностью вы обладаете в этих исследованиях! Даже о строении цветка Офириды я узнал сегодня вечером больше, чем когда-либо знал раньше'. [7] Профессор Осборн говорит в более общем плане: 'Какими бы редкими ни были его способности к рассуждению, его наблюдательность была еще более отчетливого порядка. Он настойчиво и упрямо следовал каждой подсказке; он замечал мелочи, которые ускользали от внимания других; он всегда отмечал исключения и сразу же записывал факты, противоречащие его теориям'. [8] И редакторы "Писем Дарвина" изложили все это кратко и эффективно, говоря об "этой высшей способности видеть и мыслить то, что упустил из виду остальной мир, что было одной из его самых поразительных характеристик". [9]

Собственные комментарии Дарвина к наблюдениям часты и чрезвычайно интересны. Как бы мало он ни был склонен к самовосхвалению, в очаровательном автобиографическом очерке, которым начинается "Жизнь", он откровенно заявляет о своих достоинствах в этом отношении:

‘Я думаю, что я превосхождлю обычных людей в том, что замечаю вещи, которые легко ускользают от внимания, и в тщательном наблюдении за ними. Мое усердие в наблюдении и сборе фактов было почти таким же великим, каким оно могло бы быть’.[10] Точное, систематическое, терпеливое изучение того, что действительно видно, кажется ему основой всей большой научной работы, и он неоднократно подчеркивает ее важность. “Хорошо бы помнить, что натуралисты ценят наблюдения гораздо больше, чем рассуждения”.[11] Еще раз: “Я пришел к тому, что меня совершенно не интересуют общие убеждения без учета специальных фактов. Я слишком часто страдал от этого”.[12] И наблюдение - это не только обязанность, это наслаждение. Упорядочивание фактов, дедукция теорий из них, мысль, рассуждение, аргументация - все это труд и мука. Но наблюдать за насекомыми и цветами, долгим и пристальным вниманием заставляя их раскрывать все свои секреты, - это не труд, а изысканное развлечение, которое никогда не подводит: “Жизнь натуралиста была бы счастливой, если бы ему приходилось только наблюдать, а не писать”.[13]

Далее очевидно, что наблюдения Дарвина никоим образом не ограничивались естественнонаучными рамками, но были быстрыми, острыми и постоянными во всех различных фазах и интересах жизни. Естественно, в его книгах мало что говорится помимо его научной работы, но “Летопись Бигля” демонстрирует интерес и высокую оценку многих вещей, вообще не связанных с этой работой. Столь тщательно натренированный глаз не мог бы не различить и не воспринять всевозможные мельчайшие детали, мимо которых другие прошли бы мимо. Его готовность замечать другие вещи, помимо тех, которые он искал, проявляется в пикантном комментарии о широком экспериментировании: “Это может оказаться глупостью, но я часто случайно наблюдал любопытные факты, проводя то, что я называю ”экспериментом для дураков””.[14]

Особенно любопытно отметить наблюдение Дарвина за самим собой. Конечно, он отказывается от каких-либо философских исследований в этом отношении: “Я никогда не пытался заглянуть в свой собственный разум”.[15] Тем не менее, пытался он или нет, он был удивительно жив к тому, что там происходило, и он записывает то, что находит, с той исключительной откровенностью, которая проявляется в его отношении как к своим собственным делам, так и к другим. Сама неуверенность, с которой он говорит о самоанализе, повышает ценность его результатов: “Если я смогу проанализировать свои собственные чувства (очень сомнительный процесс)”.[16] И когда он делает заявление, оно становится тем более надежным и тем более далеко идущим от умеренности и сдержанности, с которыми оно выдвигается.

В одной области, весьма далекой от того, что обычно считается естественной наукой, а именно в физиогномике и мимике, наблюдение Дарвина особенно интересно, хотя, конечно, он связал это направление исследований, как и многие другие, со своей общенаучной теорией. Его книга ‘Выражение эмоций’ - одна из самых интересных и полезных из всех для широкого читателя, и поучительно отметить, как рано, как настойчиво и добросовестно он собирал заметки по этому сравнительно второстепенному вопросу. Использование того, что непосредственно касалось его, его личного опыта повседневной жизни, особенно важно в этом отношении. Для изучения экспрессии он чувствовал, что бессознательность субъекта была первостепенным условием. Следовательно, изучение младенцев, которые были совершенно безразличны к вашим исследованиям, было особенно прибыльным, и почти с того момента, как родились его дети, Дарвин начал записывать выражения их боли и удовольствия, все маленькие едва уловимые признаки желания и нужды, которые матери используют инстинктивно, но которые отцы обычно

не склонны регистрировать как научные данные. Любопытная статья, опубликованная в журнале Mind под названием 'Биография ребенка', содержит многие заметки Дарвина по этому вопросу, а повторяющиеся ссылки в 'Выражении эмоций' показывают, как плодотворно он использовал эти заметки в более поздний период. Тщательность, с которой он наблюдал и размышлял, хорошо показана в этом отрывке о детском плаче: 'Мне следовало бы подумать о плачущих детях, потирающих глаза костяшками пальцев, но я не подумал об этом и не могу этого объяснить. Насколько мне не изменяет память, они не делают этого во время рева, и в этом случае сжатие было бы бесполезно.... Хотел бы я знать больше о костяшках пальцев и плаче'.<sup>[17]</sup>

Наблюдение не только фиксирует более крупные и бурные проявления страсти, но и постоянно следит за теми незначительными признаками чувства, которые появляются и исчезают при тривиальном социальном общении. Возьмите этот отчет об оживленной беседе: "Другая молодая леди и юноша, оба в прекрасном расположении духа, оживленно разговаривали друг с другом с необычайной быстротой; и я заметил, что всякий раз, когда молодую леди били и она не могла произносить слова достаточно быстро, ее брови поднимались косо вверх, а на лбу образовывались прямоугольные борозды. Таким образом, она каждый раз поднимала флаг бедствия; и это она делала с полдюжины раз в течение нескольких минут".<sup>[18]</sup>

Он также не удовлетворен собственными наблюдениями, но в этом, как и в более широких исследованиях, он постоянно обращается за помощью к своим друзьям, открывает им глаза и обостряет их ум, чтобы увидеть и зафиксировать то, до чего они сами, несомненно, никогда бы не додумались. Обратите внимание на осторожность и такт, с которыми он высказывает свои просьбы: "Я прошу вас, в связи с новой точкой для наблюдения представьте, насколько это возможно, что вы внезапно натываетесь на какой-то ужасный объект, и действуйте с внезапным легким испугом, *содрогнувшись от ужаса*; пожалуйста, сделайте это один или два раза и понаблюдайте за собой как можно лучше, а *после* прочтите остальную часть этой заметки, которую я, следовательно, записал".<sup>[19]</sup>

Однако именно в областях естествознания, особенно в так называемых, наблюдения Дарвина неисчерпаемо богаты, разнообразны, волнующи и наводят на размышления. Сам он выражает это очень просто и эффектно, когда говорит: "Я родился натуралистом".<sup>[20]</sup> В возрасте десяти лет его любопытство было сильно возбуждено различными аспектами насекомых, и он задумался о желательности их коллекционирования. В одном из своих писем Дарвин приводит забавную иллюстрацию этого юношеского увлечения коллекционированием. Однажды он поймал двух интереснейших жуков и держал по одному в каждой руке, когда обнаружил третьего, "священного *Панагея crux-major*!" "Я не мог отказаться ни от одного из моих *Carabi*, а о потере *Панагея* не могло быть и речи; так что в отчаянии я осторожно зажал один из *Carabi* зубами, когда, к моему невыразимому отвращению и боли, маленькое невнимательное животное брызнуло кислотой мне в горло, и я потерял оба *Carabi* и *Панагей*".<sup>[21]</sup>

Радость наблюдения, зародившаяся в детстве, продолжалась до старости и не ослабевала, а усиливалась. Когда он уставал от писательства и теоретизирования, когда болезнь мучила его, а слабость делала невозможными более сосредоточенные усилия, для него было облегчением обратиться к простому созерцанию фактов, а распускание и увядание цветов и разнообразная деятельность насекомых всегда приносили развлечение и удовлетворение. Иногда он останавливается на более широких аспектах такого созерцания, на радости открытия, на

волнении от нахождения того, что никогда не находилось раньше. Снова и снова в его южных путешествиях появляется это волнение: "В этих диких странах большое удовольствие доставляет восхождение на вершину любой горы. Существует неопределенное ожидание увидеть что-то очень странное, которое, как бы часто этому ни препятствовали, никогда не прекращалось у меня при каждой последующей попытке".[22] Или удовольствие может доставлять то, что кажется самым скромным, мельчайшим, в том, что для обычных людей незначительно или даже отталкивающе. Одна из самых привлекательных книг Дарвина, возможно, "Выражение эмоций", наиболее привлекательная с точки зрения обычного читателя, - это та, в которой он собирает воедино результаты своего изучения дождевых червей, исследования, которое продолжалось в течение многих лет терпеливого и вдумчивого изучения предмета, который даже с точки зрения натуралиста не показался бы одним из самых плодотворных или увлекательных.

Фундаментальным принципом любого научного наблюдения является точность, и никто не знал этого лучше Дарвина. Никто лучше него не понимал тонких, предательских влияний, которые всегда действуют, отвлекая, ослабляя и искажая точное и ясное видение. Существует опасность увидеть то, что мы привыкли видеть и поэтому думаем, что видим. Существует опасность увидеть то, что другие видели и описывали до нас. Существует величайшая опасность увидеть то, что мы хотим видеть, то, что согласуется с какой-то предвзятой теорией или догмой. Перед лицом всех этих опасностей Дарвин старался всегда быть настороже, и он постоянно предупреждал о них других и подчеркивал важность чистой точности и огромную трудность этого. "Боже мой, как трудно быть точным!"[23] Среди всех достоинств ученого он выше всего ценит точность, инстинкт и способность правильно фиксировать факты: "Я ценю похвалу за точное наблюдение гораздо выше, чем за любое другое качество".[24] И особенно в одном замечательном отрывке он подчеркивает и повторяет как трудность, так и ценность: "Точность - душа естественной истории. Трудно стать точным; тот, кто изменяет размер на волосок, никогда не будет точным.... Абсолютная точность - это самое трудное достижение и высшая заслуга".[25]

Среди различных элементов точности изложение, а также наблюдение, конечно, имеют первостепенное значение, но их слишком часто упускают из виду. Даже те, кто внимателен в своих фактических наблюдениях, могут быть гораздо менее внимательны в своем отчете о своих наблюдениях. Слова вводят в заблуждение и неадекватны, и трюки, которые они проделывали с научной точностью, были прискорбными. Существует странная легкость простого искажения. Существует естественная тенденция к преувеличению. Существует тенденция разъяснять вербально то, что на самом деле более или менее запутано, или, наоборот, трудность прояснения вербально того, что органы чувств могут воспринимать с исключительной ясностью.

И здесь Дарвин снова постоянно на чеку. Память вводит в заблуждение, и отчеты, основанные на ней, могут быть ненадежными: "Я по глупости доверился своей памяти и был очень раздосадован, обнаружив, насколько поспешными и неточными были многие из моих замечаний".[26] Слова неадекватны, сбивчивы, они не передадут более тонких, деликатных оттенков: "Разница может быть ясно воспринята, и все же может оказаться невозможным, по крайней мере, я нахожу это так, указать, в чем заключается разница".[27] Нельзя быть слишком осторожным, слишком скрупулезным в своих утверждениях или слишком беспокоиться о том, в чем она заключается". чтобы исправить их, когда кто-то допустил ошибку. И Дарвин встает

посреди ночи и будит дремлющего друга, чтобы объяснить, что, в конце концов, он полнее ощутил чувство возвышенного в лесах Бразилии, чем на вершинах Кордильер.[28]

Когда человек так недоверчив к своим собственным записям, он не всегда может безоговорочно принимать рассказы других людей. Дарвин стремится получить отчеты других наблюдателей и необычайно почтителен к их мнению. В то же время он мягко и настороженно критичен и хорошо знает, как оценить способности тех, с кем он имеет дело. Одно из самых интересных замечаний об мастерстве его методов получения информации, которое подтвердит каждый, кто внимательно прочитает его, - это комментарий сэра Уильяма Тернера о "его старании избегать наводящих вопросов".[29]

И если Дарвин настаивал на точности записей, он также был необычайно скрупулезен и точен в математических вопросах и измерениях. Он говорит об абстрактной математике как об одном из забытых элементов своего образования,[30] но он не чурался никаких усилий в вычислениях, где бы ни считал это необходимым для обработки своих результатов. В его книгах, описывающих изучение деталей, содержится почти невероятное количество медленных и тщательных исследований, включающих точный подсчет, взвешивание и замеры. "Я был вынужден сосчитать под микроскопом более 20 000 семян *Lythrum salicaria*", - небрежно говорит он в одном случае,[31] и существует бесчисленное множество других семян того же вида. Во всех этих расчетах его преследует возможность ошибки, и он делает все возможное, чтобы исключить ее, но все же такая возможность существует: "Хотя я всегда стараюсь быть осторожным и не доверять самому себе, все же я хорошо знаю, насколько я склонен совершать грубые ошибки".[32] Если он допустил ошибку, что скажут о некоторых из нас? Наиболее интересной и характерной чертой, на которую указал его сын, является то, что он с необычайной наивностью полагался на абсолютную точность инструментов, которые попадали к нему: "Он очень верил в инструменты, и я не думаю, что ему естественным образом приходило в голову сомневаться в точности весов или мерного стакана".[33] Далее, "для него было характерно, что он скрупулезно проводил измерения своими несколько грубоватыми весами".[34]

Поскольку он был точен и разборчив в расчетах и измерениях, он не гнушался никакими деталями, не колеблясь доводил свои исследования до последней мелочи, когда этого требовал полный и достоверный результат. Очевидно, от него ничего не ускользало. Это было не только то, что он искал, но он отмечал и захватывал странности и исключения для их большей значимости и получения прибыли в будущем. Как говорит его сын, "Многие люди почти бессознательно пропускают мимо ушей вопрос, кажущийся незначительным и не связанным с его нынешней работой, с каким-то наполовину обдуманым объяснением, которое на самом деле никаким объяснением не является. Именно за эти вещи он ухватился, чтобы отталкиваться".[35] Таким образом, по любому возникающему вопросу почти всегда можно было обратиться к его памяти или его заметкам. Как выразился сэр Томас Фаррер, "Что меня заинтересовало, так это то, что по этому, как и почти по любому другому пункту подробного наблюдения, мистер Дарвин всегда мог сказать: "Да, но в свое время я сам сделал некоторые наблюдения по этому конкретному пункту; и я думаю, вы обнаружите, и т.д., и т.п."[36]

Чтобы оценить эту детальность и основательность, необходимо изучить менее известные и менее популярные книги, такие как 'Скращение и самооплодотворение' и 'Различные формы цветов'. В них поражает настойчивостью Дарвина в изучении и подмечании тривиальных

деталей. И, возможно, самое впечатляющее из всего - это перевернуть страницы двух чрезвычайно солидных томов, посвященных усоногим. В течение многих лет Дарвин посвящал себя изучению этих неинтересных моллюсков, иногда утомляясь, иногда бунтуя, но всегда продолжая выполнять свою задачу до тех пор, пока не завершал ее. Он сам иногда задавался вопросом, стоил ли того такой длительный труд над простым описанием; но Хаксли верил, что умственная дисциплина принесла наибольшую возможную пользу более поздней работе Дарвина. В любом случае, его исчерпывающая тщательность действительно является образцовой. О том, как далеко это заходит, можно судить по одной цитате из многих: "Я не могу слишком сильно убеждать любого, кто намеревается изучать этот класс, не доверять внешним признакам; он должен отделять, очищать и тщательно исследовать внутреннюю структуру и форму отделов и, в особенности, оперкулярных клапанов".[37] И исследование, в случае Дарвина, проводилось на сотнях образцов мельчайших моллюсков, собранных и присланных ему со всего мира.

Вряд ли есть необходимость подчеркивать огромное количество труда, подразумеваемого и задействованного во всех этих добровольно поставленных задачах Дарвина. Хотя обстоятельства вынудили его посвятить большую часть своей жизни отдыху, по натуре он был тружеником. Это правда, что он иногда в шутку говорит о своем безделье: "В последнее время я был позорно праздным, *то есть* наблюдал вместо того, чтобы писать, и насколько веселее наблюдать, чем писать".[38] Но, как хорошо отмечает Хаксли, Дарвин обычно подразумевает под бездельем "усердную работу над тем, что ему нравится, когда он должен быть занят менее привлекательным предметом".[39] И более серьезный комментарий самого Дарвина звучит так: "Я симпатичный человек для проповеди, потому что я не могу быть праздным". как бы мне этого ни хотелось, но я никогда не чувствую себя комфортно, кроме как на работе".[40] Он жалуется на усталость, он заставляет себя искать отдыха, релаксации; но даже когда его тело находится в покое, его ум стремится работать, отказывается прекращать работу, находит свое единственное реальное облегчение в смене занятия и мыслей.

И поскольку труд впечатляет, впечатляет и терпение. Этот человек от природы был нервным, беспокойным, нетерпеливым. Он хотел результатов, как и все мы. И все же после того, как он разработал теорию, которая, по его мнению, должна была ниспровергнуть всю сферу науки, он двадцать лет ждал тщательного наблюдения и проверки, необходимых для придания теории хотя бы предварительной формы. Из всех великих научных качеств, возможно, терпение - самое важное и самое трудное, и, несомненно, у терпения никогда не было более выдающегося примера, чем Чарльз Дарвин. Иногда даже его непреходящая настойчивость временно поколеблена: 'Моя перистальтическая задача - вечная; я не добиваюсь заметного прогресса. Я уверен, что они принадлежат часовой стрелке, и я стону от своей задачи'.[41] Но хотя он может стонать, он никогда не сдается. Как замечательно отзывается о нем его сын: 'Он почти извинялся за свое терпение, говоря, что не выносит, когда его бьют, как будто это было скорее признаком слабости с его стороны.... Настойчивость, кажется, едва ли выражает его почти яростное желание заставить правду открыться. Он часто говорил, что важно, чтобы человек знал правильный момент, когда следует отказаться от расследования. И я думаю, что именно его склонность пропускать этот момент мимо ушей побудила его извиниться за свою настойчивость и придала его работе вид упорства'.[42] Силу такого терпения лучше всего ценят те, кто всю свою жизнь суетился, торопился, пренебрегал и прикасался к тысяче вещей, так и не докопавшись ни до одной.

### III

Ничто так не иллюстрирует терпение Дарвина и, конечно же, сотен других ученых, которые работают так же, как он, в неизвестных лабораториях по всему миру, чем процесс простого ожидания, столь часто необходимый для получения результатов. Природа требует времени, часто огромного времени, и краткость человеческой жизни и мимолетность человеческих возможностей ничего для нее не значат. Тщательная разработка научного исследования требует изучения последовательных поколений, иногда многих, посева семян и сбора цветков, пристального наблюдения за индивидуумом от зачатия до смерти, которое может продолжаться только в течение длительных периодов времени. Наблюдатель должен держать в уме дюжину направлений изучения, должен поддерживать их рядом и должен всегда быть готовым перейти от одного к другому, когда возникает какое-то новое событие, требующее его внимания. Именно в этой фазе долгой, обновленной, непрекращающейся бдительности Дарвин был выдающимся человеком. То же самое можно найти в записях его сына: 'Я думаю, что все это произошло из-за живости и настойчивости его ума — качества, о котором я слышал, как он говорил, как будто чувствовал, что был сильно одарен в этом отношении. Не то чтобы он использовал какие-либо подобные фразы о себе, но он сказал бы, что обладал способностью более или менее держать тему или вопрос перед собой в течение очень многих лет'.<sup>[43]</sup> Требуется очень небольшое изучение книг Дарвина, чтобы показать, насколько широко и постоянно применялась эта сила.

И для того, чтобы такое терпение и вкус к непрерывности проявились в полной мере, необходима почти страсть к системе, к упорядоченному расположению и привычка расставлять не только вещи, но и мысли по своим местам, чтобы их можно было использовать в нужный момент правильным образом. Сам Дарвин описывает свой сложный метод индексирования книг, которые он читал, и сделанных им заметок, чтобы всякий раз, когда он хотел заняться каким-либо специальным предметом, он мог сразу обратиться к материалам, имеющим к нему отношение: "Прежде чем приступить к какому-либо предмету, я просматриваю все краткие указатели и составляю общий и классифицированный указатель, и, взяв один или несколько подходящих каталогов, я готовлю к использованию всю информацию, собранную за мою жизнь".<sup>[44]</sup>

Такие систематические привычки к работе требуют упорядоченного и экономного использования времени и подразумевают это. Из-за проблем со здоровьем рабочее время Дарвина было крайне ограничено, но он использовал его по максимуму. Каждый полезный час был отведен, и из него были извлечены максимальная прибыль и результат. Без сомнения, такое чувство давления само по себе не очень полезно для здоровья, но оно означает огромный объем проделанной работы. Время использовалось бережливо и разумно: "Он сэкономил много времени, потому что ему не приходилось делать что-то дважды".<sup>[45]</sup> И повсюду чувствуется ценность минут, на что указывает высказывание Данте:

*Chè'l perder tempo, a chi più sa, più spiace.*<sup>[46]</sup>

Или, как выразился сам Дарвин: "Человек, который осмеливается потратить впустую один час времени, не открыл ценности жизни".<sup>[47]</sup>

Еще один элемент наблюдения, богато проиллюстрированный Дарвином и тесно связанный с терпением и непрерывностью, - это элемент сравнения. Наблюдение само по себе, простое накопление любопытных деталей, не продвинет нас далеко. Наблюдения должны быть связаны

воедино, одно с другим, они должны быть связаны и соотнесены, вплетены в результаты и выводы, часто отдаленные и далеко идущие, иначе они не начнут приобретать всей своей возможной значимости. По выражению самого Дарвина: "Как вы сказали, чистое наблюдение доставляет необычайное удовольствие; но я подозреваю, что удовольствие в данном случае скорее проистекает из сравнений, формирующихся в уме из родственных структур".[48] Этот более сложный процесс сравнения, однако, сразу приводит нас к методам преднамеренного эксперимента для специальной цели, и поэтому он будет более полно и естественно рассмотрен в следующей главе.

Что касается более практической стороны наблюдения, то на человека в значительной степени производят впечатление все трудности и недостатки, связанные с ним, когда оно проводится в сколько-нибудь значительных масштабах, и, конечно, жизнь Дарвина дает множество иллюстраций этого, некоторые из которых характерны для него самого, а некоторые носят более общий характер, который в той или иной степени беспокоит большинство натуралистов.

Существуют трудности, которые всегда сопровождают обширные работы в поле и на открытом воздухе. В таком путешествии, как "Бигль", на маленьком паруснике столетней давности, были элементы реальной опасности. Дарвин был последним человеком, который подчеркивал свое мужество, встречаясь с ними или игнорируя их. О своем детстве он говорит: "Я помню, как сильно я боялся встречи с собаками на Баркер-стрит, и как в школе я не мог набраться храбрости для борьбы: я был очень робким по натуре".[49] Но неоднократный опыт во время путешествия на "Бигле" делает очевидным, что робость была преодолена спокойным и разумным пониманием условий и необходимости. Возможно, наиболее интересной иллюстрацией является отношение Дарвина к землетрясению в Южной Америке: 'Однако мне не повезло, поскольку произошло всего одно небольшое землетрясение. Я лежал в постели, когда в доме была компания за ужином; внезапно я услышал такой гвалт в столовой; не произнеся ни слова, выяснилось, что дьявол заберет последнего и кто должен выйти первым; в тот же момент я почувствовал, что моя кровать *слегка* завибрировала в боковом направлении. Собравшиеся были старыми артистами и слышали шум, который всегда предшествует толчку; а ни один старый артист не смотрит на землетрясение философским взглядом".[50]

Возможно, хуже конкретных, исключительных опасностей были постоянные неприятности и дискомфорт. Пищи часто было недостаточно, она была плохо приготовлена и не переваривалась. Холод изматывал, и жара изматывала. Была подверженность всевозможным погодным условиям, были мучения от насекомых, была бесконечная, неизбежная усталость, которую нельзя было вылечить или избежать, а просто приходилось терпеть и забывать в предвкушении достижения больших или даже малых целей. Кое-где мелькающие детали, никогда не подчеркиваемые излишне, показывают, что это были за испытания и как они были преодолены: 'Дорога после недавнего дождя была полна маленьких лужиц чистой воды, но ни одна капля не годилась для питья. Я едва ли провел двадцать часов без воды, и только часть времени под палящим солнцем, но жажда очень ослабила меня. Я не могу себе представить, как люди выживают два или три дня при таких обстоятельствах".[51] Мириться с неудобствами во время похода продолжительностью в несколько недель или месяцев - это одно. Постоянно терпеть их в течение пяти лет означает проявлять очень симпатичный энтузиазм по отношению к делу науки.

Помимо этих внешних недостатков наблюдения, есть и другие, более субъективные и личные. Небольшой аспект из них заинтересовал меня, потому что он демонстрирует такую восхитительную смесь человеческих чувств и научного любопытства. Как у нас будет возможность уточнить позже, Дарвин отличался нежностью, сочувствием, нежным и доброжелательным интересом не только к человечеству в целом и к животным, но особенно к тем, кто был непосредственно связан с ним. Тем не менее, его исследования самовыражения привели его, вынудили к спокойному и хладнокровному анализу ситуаций и эмоций, которые в то же время сильнее всего взывали к его симпатиям. На протяжении всего младенчества своих детей он практиковал делать заметки о них, но наиболее любопытно проследить игру личных эмоций в сочетании с абстрактным исследованием, и работа этого колодца хорошо видна в замечании его сына: "Для него было характерно (как я слышал от него), что, хотя он так стремился понаблюдать за выражением лица плачущего ребенка, его сочувствие горю испортило его наблюдение".<sup>[52]</sup> Более безличным примером является его тщательный отчет о женщине, которую он изучал в железнодорожном вагоне, с пристальным вниманием наблюдая за движением ее тела. *угнетающая боль*, которая, казалось, свидетельствовала о крайнем расстройстве: "Поскольку ее лицо оставалось таким же безмятежным, как всегда, я подумал, насколько бессмысленной была эта судорога и как легко можно было обмануться. Едва эта мысль пришла мне в голову, как я увидел, что ее глаза внезапно наполнились слезами почти через край и все ее лицо вытянулось. Теперь не могло быть никаких сомнений в том, что какое-то болезненное воспоминание, возможно, о давно потерянном ребенке, пронеслось в ее сознании".<sup>[53]</sup> И таким образом случаи сильного индивидуального страдания были обобщены в типичные случаи, зафиксированные в научных отчетах.

Однако гораздо более важными в карьере Дарвина недостатками научного наблюдения, чем любые попытки проявить субъективное сочувствие, были горькие, стойкие ограничения, связанные с физическими заболеваниями и слабостью. В течение очень большой части своей жизни его мучило нервное расстройство желудка, проявляющееся при любом напряжении постоянной тошнотой. Впервые это проявилось в постоянно возвращающейся и непреодолимой морской болезни, которая превращала все его южные путешествия в сплошное страдание. Когда океан совсем не бушевал, болезнь повергала его в изнеможение, и те, кто знает, насколько изнурительна морская болезнь, оценят положительный героизм, позволивший ему продолжать свое путешествие и исследования с такими трудностями.

После возвращения в Англию неприятности продолжали преследовать его на протяжении всех последующих лет. Он никогда не мог работать больше небольшой части дня. Возбуждение посетителей всегда расстраивало его. Были длительные периоды, когда любая работа была невозможна, и частозахватывающее исследование приходилось вообще откладывать в сторону как раз в самый критический момент, откладывать настолько полностью, что запрещался не только сам труд, но даже мысль. Праздность, которую он ненавидел, была навязана ему на очень большую часть его дней и часов, и дух, созданный для такой постоянной и интенсивной деятельности, был вынужден приучать себя к самому утомительному и бесполезному отдыху.

Это не имело никакого значения в интенсивности или настойчивости его научных занятий. Возможно, если бы он совсем отказался от своих занятий и удовлетворился ленивым и внешне разнообразным существованием, он мог бы наслаждаться приличным здоровьем. Но он ни на минуту не уступал. Вся его душа была отдана учебе, занятиям, изысканиям, которые увлекали и вдохновляли его, и жизнь без них была бы немыслима. "Мы приехали сюда, чтобы я отдохнул, в

чем я так нуждался; и останусь здесь еще дней на десять, а затем вернусь домой, чтобы работать, что является моим единственным удовольствием в жизни".[54] Это постоянная нота. В разгар своих путешествий он писал домой: "С тех пор, как я покинул Англию, мои мысли были в совершенном урагане восторга и изумления, и до сего часа едва ли минута прошла в праздности".[55] Тело могло отставать, тянуть, изводить и мучить, но дух всегда жил в таком урагане возбуждения и энтузиазма.

## IV

Следует признать, что даже в чистой привычке наблюдать за собой, будь то в мире природы или где-либо еще, есть очарование для тех, кто рожден для этого. Любопытство - естественный инстинкт большинства из нас, и есть неисчерпаемое развлечение в том, чтобы позволить духу спокойно находиться внутри, в то время как внешний мир воздействует на него бесконечной чередой живописных происшествий и ярко окрашенных обстоятельств. В то же время, и особенно в сфере природы, удивительно, какое значение имеет даже небольшое знание. Большинство из нас бродит по полям и лесам, как слепые, совершенно не обращая внимания на все завораживающие тайны, которые ожидают наши глаза и уши, если бы мы только были живы для них. Как человек, который всегда получал удовольствие от уединенных лесных прогулок просто из-за их ассоциативной красоты, я, по крайней мере, могу оплакивать прискорбное невежество в отношении растений, птиц и насекомых, которое не позволяет мне даже разумно расспросить их. Нехватка времени или природная лень помешали мне накопить знания, которые поставили бы все эти вещи в их надлежащую взаимосвязь и заставили бы их рассказать историю, которую подготовленный и опытный наблюдатель мгновенно и инстинктивно прочитает в них. Отрадно видеть, что даже Дарвин жалуется на то же невежество и ту же слепоту, когда попадает в незнакомую ему обстановку. Так, в своем более раннем путешествии он отмечает: "Одним из больших источников замешательства для меня является полное незнание того, отмечаю ли я правильные факты и достаточно ли они важны, чтобы заинтересовать других".[56] И еще более ярко: "Положительно огорчительно гулять по великолепному лесу среди таких сокровищ и чувствовать, что все они брошены на одного".[57]

Затем, с приходом небольшого знания, наблюдение обогащается, преобразуется, прославляется. Послушайте, что говорит Торо даже о кажущемся сухим и бесполезным приобретении номенклатуры: 'Со знанием названия приходит более отчетливое узнавание вещи. Этот берег теперь более поддается описанию и даже поэтичен. Раньше мои знания были ограниченными и заржавели, потому что ими не пользовались — потому что их нельзя было использовать. Теперь мои знания становятся доступными для передачи и растут благодаря общению".[58] Знания в одной отрасли усиливают и стабилизируют наблюдение в этой отрасли. Знание многих отраслей связывает их и заставляет каждую из них проливать свет на все остальные. Записи наблюдений других или ваших собственных за несколько лет придают каждому новому году двойное значение и плодотворность. Как снова говорит Торо: "Вскоре я обнаружил, что наблюдаю, когда растения впервые распускают листья, и я следил за этим рано и поздно, далеко и близко, несколько лет подряд, бегая в разные концы города и в соседние городки, часто от двадцати до тридцати миль в день".[59] Если ваше внимание фиксируется на каком-то особом моменте, который необходимо прояснить, каждая ваша прогулка и почти каждый шаг выявляют какое-то развитие событий, которое вы раньше не рассматривали и не

представляли. Короче говоря, обогащение знаниями удваивает, утраивает, удваивает в пять раз ваше видение, поскольку оно учит вас, на что обращать внимание, и, хотя иногда оно предает, учит вас тому, что видеть.

Но если простое общенаучное знание так стимулирует и так расширяет сферу наблюдений, то насколько бесконечно более плодотворен дарвинистский взгляд на взаимосвязанное развитие всей жизни, включая жизнь человека. Что бы ни говорилось, что бы нам ни пришлось сказать позже о пагубном воздействии этого взгляда на статус самого человека, не может быть никаких сомнений в преобразующем, магическом воздействии этого взгляда на изучение мира природы. До появления эволюционного подхода наблюдение за растениями и животными было в лучшем случае простым удовлетворением любопытства. Подлинным предметом изучения человечества был человек, а изучение птиц и насекомых было всего лишь отвлечением внимания. Но в тот момент, когда оказалось, что все нити жизни переплетены и что, распутывая даже малейшую из них, вы, возможно, получите ключ к разгадке целого, все изменилось. Когда приходит осознание того, что история человека, его инстинктов, его страстей, его сил, его будущего, его судьбы написана в его прошлом, и это прошлое должно изучаться, если вообще должно, в истории самых скромных созданий, которые одушевлены тем же таинственным импульсом жизни, который формирует его и управляет им, интерес к естественному наблюдению возрастает в тысячу раз. Не будет преувеличением сказать, что со времен Дарвина изучение естественной истории совершенно отличается от того, что было раньше.

Очевидно, что на самого Дарвина постоянно производило огромное впечатление глубокое значение, придаваемое таким образом научным исследованиям. Отрывок из его ранних записных книжек показывает, как эта идея начала овладевать им: "Если мы решим дать волю догадкам, тогда животные, наши собратья по боли, болезням, смерти, страданиям и голоду, наши рабы на самых тяжелых работах, наши товарищи по развлечению - они могут иметь наше происхождение от одного общего предка — мы все можем слиться воедино".<sup>[60]</sup>

Поразительная конкретная иллюстрация общности жизни, даже в самых скромных формах, приводится в книге о дождевых червях и предлагает поэтическую версию той же идеи Эмерсона,

И стремящийся стать человеком - червем

Поднимается по всем шпилькам формы:

‘ Может быть, стоит вспомнить, насколько совершенным становится осязание у человека, когда он рождается слепым и глухим, как черви. Если черви способны приобретать какое-то представление, пусть даже грубое, о форме объекта и своих норах, как, по-видимому, имеет место, они заслуживают того, чтобы называться разумными; ибо тогда они действуют почти так же, как действовал бы человек в аналогичных обстоятельствах'.<sup>[61]</sup> В то время как знаменитый отрывок из "Происхождения видов" абстрактно развивает идею, по крайней мере косвенно ставя человека на вершину целого: "Подобно тому, как почки дают начало новым почкам, и они, если они сильны, разветвляются и покрывают со всех сторон многие растения". более слабая ветвь, так, я полагаю, было из поколения в поколение с великим Древом Жизни, которое заполняет своими мертвыми и сломанными ветвями земную кору и покрывает поверхность своими постоянно разветвляющимися и прекрасными разветвлениями".<sup>[62]</sup>

Уоллес сказал о своем большом друге и конкуренте: 'Опять же, и у Дарвина, и у меня было то, что он называет "простой страстью коллекционирования".... Я бы описал это скорее как интенсивный интерес к простому *разнообразию* живых существ".<sup>[63]</sup> Простой наблюдатель увлечен, поглощен, восхищен восторгом и завораживающей игрой этого разнообразия живых существ, но насколько более захватывающим и неисчерпаемым становится восторг, когда мы чувствуем, что, изучая эту универсальную игру жизни, мы каждое мгновение исследуем глубины наших собственных душ.

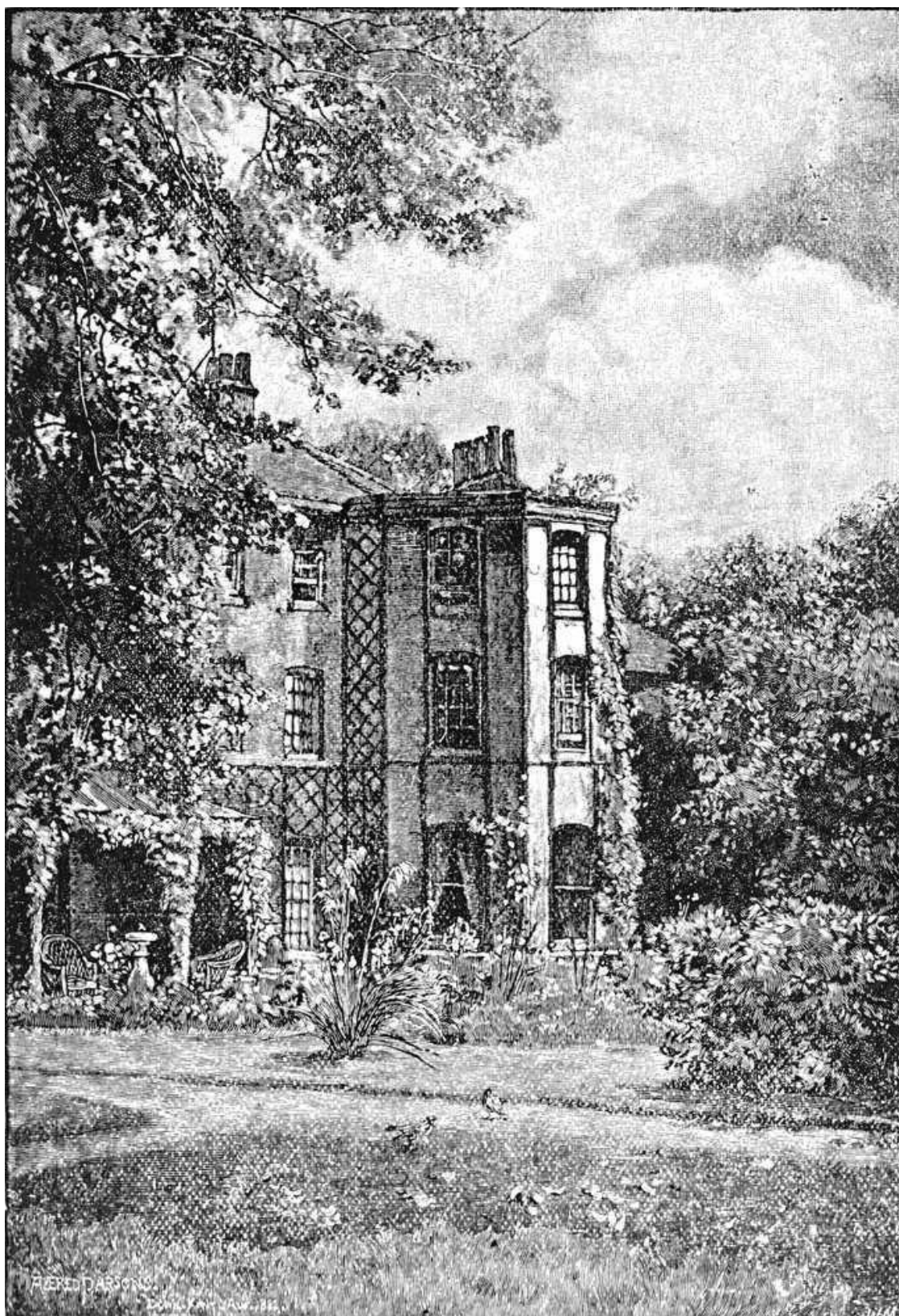
## ГЛАВА II ДАРВИН: МЫСЛИТЕЛЬ

Я

Простое наблюдение за миром природы, каким бы разнообразным, увлекательным и неисчерпаемым он ни был, дает только материал для науки. Наблюдаемые факты должны быть собраны, сплетены воедино, упорядочены, упорядочены, систематизированы в выводы и теории путем размышления и разума, если они хотят иметь полное отношение к жизни и вселенной. Знание - это накопление фактов. Мудрость - это установление отношений. И именно потому, что последний процесс деликатен и опасен, он тем более восхитителен. Высокомерное презрение истинного философа к простому восприятию хорошо показано в замечании Руайе Коллара: 'Нет ничего более презренного, чем факт'. Что не мешает философам или кому-либо еще делать факты существенной основой любого обсуждения отношений. Собственные комментарии Дарвина об общей связи между ними всегда интересны: "У меня есть давнее убеждение, что хороший наблюдатель на самом деле означает хорошего теоретика",<sup>[432]</sup> и еще: "Около тридцати лет назад было много разговоров о том, что геологи должны только наблюдать, а не теоретизировать; и я хорошо помню, как кто-то сказал, что с таким же успехом человек мог бы залезть в гравийный карьер, пересчитать камешки и описать цвета. Как странно, что никто не должен видеть, что все наблюдения должны быть за или против какой-либо точки зрения, если мы хотим, чтобы она принесла какую-либо пользу".<sup>[433]</sup>

Предполагается, что одной из главных функций образования является развитие этой способности соотносить факты друг с другом, а также тренировать и укреплять способности к рассуждению. Дарвин не чувствовал, что образование много помогло ему в этой области, во всяком случае, в тех научных направлениях, которые представляли для него особый интерес. Он считал, что его академическая дисциплина была в значительной степени потрачена впустую. Сочинение латинских стихов не привлекало его. Более общие сведения о текущей информации привлекали его очень мало, и временами он казался странно невежественным в том, что должен знать обычный образованный человек. Так, его сын записывает, что однажды он спросил Хукера, где находится "это место Вена, где издают так много книг".<sup>[434]</sup> Он много читал обо всем, что касалось его собственной работы, но именно этот факт мешал ему заниматься повседневными делами, которые были далеки от нее. Его собственный комментарий о своем университетском опыте горьок: "В течение трех лет, которые я провел в Кембридже, мое время

было потрачено впустую, в том, что касалось академических исследований, так же, как в Эдинбурге и в школе".<sup>[435]</sup> И он считал, что научился всему, чему, по его мнению, стоило учиться, в значительной степени собственными усилиями: "Я считаю, что все, что я узнал сколько-нибудь ценного, было получено самоучкой".<sup>[436]</sup>



## ДОМ В КОНЦЕ САДА

Имея за плечами такого рода дисциплину, очень интересно изучить его общее отношение к связи рассуждений и фактов. Некоторым из нас спор между индукцией и дедукцией всегда

казался довольно бесполезным. Бэконовское настаивание на абсолютной необходимости фактов как основы любой надежной теории, конечно, бесспорно справедливо. Но разговоры о переходе от абстрактной теории к исследованию фактов кажутся столь же бесплодными, как и бесцельное блуждание в неассортированных областях фактов без помощи теории. Поэтому отрадно видеть такого ясного и систематического мыслителя, как Хаксли, не желающего отождествлять свои процессы ни с полной индукцией, ни с дедукцией: "Те, кто отказывается выходить за рамки факта, редко доходят до факта; и любой, кто изучал историю науки, знает, что почти каждый значительный шаг в ней был сделан благодаря "предвосхищению природы", то есть путем изобретения гипотез, которые, хотя и поддавались проверке, часто имели под собой очень мало оснований для начала; и нередко, несмотря на долгую карьеру полезности, оказывались полностью ошибочными в своих выводах". в долгосрочной перспективе".[437]

Теперь Дарвин, очевидно, оказался именно в той неопределенности между индуктивным и дедуктивным методами, на которую здесь указывает Хаксли. Его инстинкты были от природы враждебны абстрактной теории, которая использовала факты как игрушки для обоснования витающих в воздухе гипотез. Он говорит об одном научном авторе: "Я не убежден, отчасти, я думаю, из-за дедуктивного характера большей части его рассуждений; и я не знаю почему, но я никогда не чувствую себя убежденным дедукцией, даже в случае работ Г. Спенсера".[438] И он говорит еще более конкретно о самом Спенсере: "Я всегда испытываю злобное удовольствие, когда *априорные* выводы бьют в голову; и поэтому я чувствовал себя чем-то вроде дьявола, когда читал ваши замечания о Герберте Спенсере".[439] Ранние и позднее он подчеркнул, что "никто не имеет права строить догадки без четких фактов".[440] Но в то же время он настаивает и повторяет, что простой сбор фактов без какой-либо теоретической основы для руководства и разъяснения глуп и бесполезен: "Я твердо убежден, что без догадок нет хорошего и оригинального наблюдения".[441]

Правда в том, что важность силы воображения в оснащении великого ученого часто недооценивается. Точное и бдительное видение - это первая необходимость; но оно не заходит далеко, или не самое дальнее, за исключением того, что за ним стоят мысли, блуждающие в вечности, огромный и ищущий гений, который постоянно находится в поиске причин и объяснений и стремится развить теорию на надежной и существенной, но неодушевленной основе фактов. Даже Торо почти сожалеет о его чрезмерной увлеченности увлекательным делом наблюдения: "Человек не может позволить себе быть натуралистом, смотреть на Природу непосредственно, но только краем глаза. Он должен смотреть сквозь нее и за ее пределы. Смотреть на нее фатально, как смотреть на голову Медузы. Это превращает человека науки в камень. Я чувствую, что рассеян столькими наблюдениями.... У меня почти легкая сухая головная боль в результате всех этих наблюдений".[442] Теория, умозрение должны постоянно проверяться и ограничиваться точностью систематической логики, но точный глаз и осторожный палец должны дополняться вечно активным умом.

Что касается деятельности разума Дарвина, то здесь не может быть никаких сомнений. Он не только видел, но и непрерывно думал. Если вы сравните "Дневник Бигля" с "Дневником Торо", вы сразу увидите, насколько английский натуралист более расторопен и готов к рассуждениям и догадкам. Малейший факт способен подтолкнуть его к построению теории, где Торо просто фиксирует или, возможно, сравнивает и передает дальше. Насколько важен краткий комментарий Эйсы Грея относительно какого-то ботанического пункта, который он, как специалист в этой области, должен был бы развить первым: "Это настоящий Дарвин. Я просто

удивляюсь, что мы с тобой никогда об этом не думали. Но он думал".[443] И он не только думал сам, он обладал более редкой и ценной способностью заставлять думать других. Его ум был настолько интенсивным и притягательным в своей постоянной деятельности, что все те, кто соприкасался с ним, были побуждены и воодушевлены работать вдвойне над собственными предположениями. "Ты стимулируешь мой разум, - снова говорит Грей, - гораздо больше, чем кто-либо другой, за исключением, возможно, Хукера".[444]

По этому вопросу об интеллектуальной плодовитости, как и о других его научных качествах, наиболее интересно послушать самого Дарвина. Умственная активность присутствовала рано или поздно, и не похоже, что изобилие молодости особенно подчеркивало ее или что она имела тенденцию усиливаться с более поздним желанием развивать свои специальные теории. Он сам говорит в Автобиографическом очерке: "Я не замечаю никаких изменений в своем сознании за последние тридцать лет, за исключением одного момента: ... Я думаю, что я стал немного более искусен в угадывании правильных объяснений и в разработке экспериментальных тестов; но это, вероятно, может быть результатом простой практики и большего объема знаний".[445]

Быстрый интеллект всегда работал, иногда устало, иногда нетерпеливо, но работал, если только не мешала абсолютная физическая прострация. Когда он слишком измучен, он жалуется: "Факты вынуждают меня прийти к выводу, что мой мозг никогда не был сформирован для долгих размышлений".[446] Но если это так, то он определенно жил вопреки своей природе. Он говорит нам, что не может удержаться от формирования гипотез по каждому предмету.[447] Иногда он оплакивает эту тенденцию, осознавая ее недостатки и опасности. Иногда он уступает ей, признавая ее очарование: "Восхитительно, когда в твоем мозгу бродит множество мыслей".[448] Размышления завораживают. Теория придает форму и фактуру мимолетному дрейфу и путанице фактов. Тем не менее, даже когда кто-то потворствует себе с большим энтузиазмом, нотка юмора показывает, что удовлетворение должно быть смягчено определенным отсутствием полной уверенности: "Это великолепный факт о белых мотыльках; это согревает саму кровь, когда видишь, что теория, таким образом, почти подтвердилась".[449]

Ибо чудо и интерес Дарвина заключается в том, что, обладая такой страстной и постоянной склонностью к теоретизированию, он мог так полностью держать эту склонность под контролем. Как в целом выразился Карл Пирсон: "Сотни людей позволили своему воображению разгадать вселенную, но люди, внесшие вклад в наше реальное понимание природных явлений, были теми, кто был безграничен в применении критики к продукту своего воображения".[450] Несомненно, никто не применял такую критику более тщательно, более добросовестно, более постоянно, чем Дарвин. Он анализирует свое собственное положение и видит его опасности: "Живя так уединенно, как я, начинаешь глупо думать о собственной работе".[451] Он постоянно видит, как теория вмешивается и искажает суждения: "Я не сомневаюсь, что не пройдет и нескольких месяцев, как я буду стремиться к самым бесчестным видам, как более честным, чем самые честные теории".[452] Возможность ошибки преследует его, мучает, и он хорошо знает, насколько склонен вводить в заблуждение его собственный спекулятивный настрой: "То, что вы говорите, - это то, что вы говорите". намек на "в целом" очень, очень верен: моя работа будет прискорбно гипотетической, а большие части ни в коем случае не заслуживают того, чтобы называться индукцией, моей самой распространенной ошибкой, вероятно, является индукция на основе слишком малого количества фактов".[453] Как следствие, он всегда был настороже, чтобы не сбиться с пути. Маленький демон-искушатель

гипотез, возможно, заманивает за угол: "Не сформировать какое-то мнение так же трудно, как сформировать правильное суждение".[454] Но какое бы мнение ни было сформировано, оно должно быть исправлено, должно быть скорректировано, должно быть проверено холодным и жестким мерилom фактов. Как он говорит сам: "Я неуклонно старался сохранять свой разум свободным, чтобы отказаться от любой гипотезы, какой бы любимой она ни была (и я не могу удержаться от того, чтобы не сформулировать ее по каждому предмету), как только факты покажут, что они противоречат ей".[455] И тот, кто хорошо знал его и тщательно изучал, говорит то же самое с таким же акцентом: "Его многолетний опыт дал ему своего рода инстинктивное понимание метода решения любой биологической проблемы, какой бы незнакомой ему она ни была, в то время как он жестко контролировал плодovitость своего ума в гипотетических объяснениях с помощью не менее плодovitость гениально придуманного эксперимента".[456]

В отношении этого вопроса о свободе спекуляции и тенденции давать волю воображению, интересно понаблюдать за комментариями Дарвина об общих методах других. Чрезмерное воздержание он действительно осуждает, признавая, что крайняя осторожность человека может помешать ему достаточно теоретизировать: "Сколько астрономов всю свою жизнь трудились над наблюдениями и не пришли ни к одному выводу".[457] Но опасность с другой стороны настолько велика и разрушительна, что на ней нельзя достаточно настаивать, и действительно, временами это делает любое обобщение подозрительным и почти того, чего следует избегать: "Я рассматриваю сильную тенденцию к обобщению как целое зло".[458] В любом случае, теоретик никогда не должен забывать о субъективном элементе, о том, что его предвзятые мнения склонны исказить его суждения и видение, пока самые проникательные наблюдатели и самые здравомыслящие мыслители не сбиваются с пути: "самая твердая убежденность в истинности доктрины ее автором, увы, не является ни малейшей гарантией истины".[459]

О пользе и уроке всего этого нужно постоянно напоминать самому себе: "Когда я думаю о многих случаях, когда люди годами изучали один предмет и убеждали себя в истинности самых глупых доктрин, я иногда немного пугаюсь, не являюсь ли я одним из этих мономаньяков".[460]

Чтобы в полной мере оценить сочетание умственной активности и плодovitости у Дарвина с умеренностью и сдержанностью, уместно поместить его между двумя крайними типами мыслителей. С одной стороны, есть прирожденный мыслитель и логик, например, Спиноза, или Гегель, или современник Дарвина, Спенсер, человек, который в большей или меньшей степени принимает факты за основу, но которому по природе и темпераменту нравится плести сложную паутину логической теории, жесткой и совершенной с виду систематической дедукции, но слишком склонной в конце концов относиться к фактам с безразличием, если не с неуважением. В этой связи мне особенно нравится сравнивать Дарвина с Лукрецием. De Rerum Natura - один из самых ярких, увлекательных примеров того, что я бы назвал страстным мышлением. Теоретические проблемы овладевают Лукрецием подобно любовному экстазу. Он рвет и выворачивает корни мысли, полный решимости заставить их уступить всепоглощающей энергии его нетерпеливого поиска. Теперь Дарвин обладает широким и постоянным любопытством, его интерес вполне можно назвать энтузиазмом, и он сам использует для этого термин "страсть": "Отсюда у меня появилась страсть пытаться связать все подобные факты с помощью какой-нибудь гипотезы".[461] Однако ни в одной фазе его натуры я не склонен когда-либо использовать общее слово "страсть", и мне кажется, что каждая страница Лукреция пронизана всепожирающим пылом, отличным от всего, что знал Дарвин.

С другой стороны, в противовес этим яростным аргументам я должен противопоставить близкого современника Дарвина Сент-Бева, который, как я уже говорил в предыдущей главе, в некоторых аспектах был таким же замечательным представителем научного духа, как и сам Дарвин. Бесконечное любопытство, безграничное наблюдение за фактами, воплощенные в человеческом субъекте, никогда не находили более яркого воплощения, чем в великом французском критике. Но Сент-Бев не был рассуждателем в широком смысле этого слова. Он даже не избегал рассуждений из недоверия: ему это было не по вкусу, и когда он имел с этим дело, то всегда мягко и с крайней сдержанностью. Ему доставляло удовольствие изучать и изображать отдельных людей и позволять этим людям, так сказать, классифицировать самих себя и таким образом указывать путь к общим результатам.

Между этими двумя крайностями находится Дарвин, как человек, который в полной мере использовал рассуждения для интерпретации факта, но в то же время всегда внимательно и жестко придерживался самого факта и ни на мгновение не позволил бы ему быть искаженным процессом рассуждения.

## II

Высшим средством для удержания теории на основе фактов, конечно же, является неизменный, настойчивый, постоянно меняющийся эксперимент. В предыдущей главе мы видели, что наблюдение естественным образом приводит к эксперименту; но эксперимент - это наблюдение, направляемое и освещаемое теорией. И, несомненно, ни у одного ученого любовь и привычка к эксперименту не были закреплены так прочно, как у Дарвина. Объяснение явлений было очень хорошо на своем месте, существенно, увлекательно, но он был бы абсолютно согласен с Аристотелем относительно правильного упорядочивания процесса: 'После этого мы перейдем к обсуждению причин. Ибо сделать это, когда исследование деталей завершено, - правильный и естественный метод, с помощью которого предмет и предпосылки нашей аргументации впоследствии станут ясны'.<sup>[462]</sup> Очарование эксперимента само по себе было бесконечным и почти достаточным: "Любовь к эксперименту была в нем очень сильна, - говорит его сын, - и я помню, как он говорил: "Мне будет нелегко, пока я это не попробую", - как будто им двигала внешняя сила".<sup>[463]</sup> В этом было ощущение приключения", об открытиях, и ему нравилось пробовать вещи, которые казались почти фантастическими и абсурдными: "Если бы вы знали о некоторых экспериментах (если их можно так назвать), которые я провожу, у вас было бы полное право насмеяться, потому что они настолько *абсурдны* даже по моему мнению, что я не осмеливаюсь рассказать вам".<sup>[464]</sup> И более кратко и ярко: "Я как игрок и люблю дикие эксперименты".<sup>[465]</sup> Лучшим комментарием к этому является превосходное замечание профессора Касл: "Наибольших успехов в практических делах добиваются те, у кого хватает смелости попытаться сделать то, что другие с *полным основанием считают недостижимым*. Когда такие попытки увенчались успехом, мир просто пересматривает свою классификацию достижимых и недостижимых вещей и начинает все сначала".<sup>[466]</sup>

Первое, что касается эксперимента, - это условия. Конечно, существуют грубые и элементарные эксперименты, использующие только простые принципы, которые не требуют тщательного изучения деталей. Но во многих случаях для обеспечения надежных результатов необходима самая тщательная подготовка и корректировка. Обширное оборудование современных лабораторий было не в распоряжении Дарвина, и хотя он располагал значительными финансовыми ресурсами, он не мог позволить себе неограниченных затрат на коммерческие

исследования. Так, мы читаем об одном из испытаний мистера Бербанка: 'Было выведено сорок тысяч гибридов ежевики и малины, которые выращивались до созревания плодов. Затем из всей партии был выбран один сорт как лучший.... Все остальные были вырваны с корнем вместе с урожаем созревающих ягод, свалены в кучу шириной в двенадцать футов, высотой в четырнадцать футов и длиной в двадцать два фута и сожжены. От этого дорогостоящего и длительного эксперимента ничего не осталось, кроме одного родительского растения нового сорта".[467] Дарвин вряд ли мог работать в таком сложном масштабе, как этот. И все же, просматривая его обширный послужной список экспериментов, поражаешься тому, насколько тщательными и кропотливыми были его усилия избежать несчастных случаев и предусмотреть тревожащие непредвиденные обстоятельства. Возьмем, к примеру, в качестве второстепенной, но важной иллюстрации его отчет о трудностях проведения специфического оплодотворения определенных растений: 'При заключении восемнадцати различных союзов, иногда в ветреные дни, когда вокруг жужжали пчелы и мухи, вряд ли можно было избежать нескольких ошибок. Однажды мне пришлось все время держать при себе третьего человека, чтобы пчелы не залетали на непокрытые растения, потому что через несколько секунд они могли нанести непоправимый вред. Также было чрезвычайно трудно исключить из сети мелких двукрылых".[468]

Еще одно важное соображение, касающееся эксперимента, заключается в том, что он должен оставаться безличным. В большинстве случаев, если мы хотим провести плодотворный и удовлетворительный эксперимент, то должны иметь в виду какую-то особую цель, какую-то конкретную точку зрения, которую нужно отвергнуть или подтвердить. Пока вы точно не знаете, что ищете, вы склонны ничего не видеть. Снова и снова в книге Дарвина об орхидеях, как и во многих других, мы читаем, что он проводил исследования и не получил никаких результатов просто потому, что не имел в виду теоретических возможностей. Когда он обдумывал, что должно произойти или может произойти, он часто обнаруживал, что это происходит. Опасность этого метода очевидна. Когда экспериментатор так отчаянно стремится увидеть что-то, если он не будет самым тщательным образом обучен и дисциплинирован, он это увидит. Не следует предполагать, что Дарвин всегда избегал этой опасности, но мало кто из людей был более подготовлен к ней или более готов допустить ее, чем он. Его признание в предубежденности, его признание важности определенных моментов в его общей теории и его нежелания, чтобы что-либо вмешивалось в них, являются одними из его величайших достоинств: 'Я хорошо помню то время, когда при мысли о глазу у меня похолодело во всем теле.... Всякий раз, когда я смотрю на перо в павлиньем хвосте, меня тошнит от него".[469]

Мы уже подробно остановились на таком важном качестве, как точность, и можно просто добавить, что точность вдвойне важна во всех экспериментах с теоретической целью. Точность, полная, детализированная, математическая выверенность была хобби Дарвина, и скрупулезность его записей постоянно служит этому примером.

Кроме того, для подтверждения их точности необходимо повторить эксперименты. Гете справедливо замечает, что нет необходимости путешествовать по всему миру, чтобы убедиться, что небо везде голубое,[470] и, без сомнения, есть повторения, которые тщетны и излишни. Но многие сложные и деликатные исследования приходится проводить снова и снова, чтобы мельчайшие детали могли быть завершены; и этот процесс может потребовать месяцев утомительной задержки. Неизменная забота Дарвина как о повторении, так и о том, чтобы избежать повторения, хорошо обозначена в комментарии его сына: "Хотя он терпеливо

продолжал повторять эксперименты, в которых можно было получить какую-либо пользу, он не мог вынести необходимости повторять эксперимент, который при соблюдении полной осторожности должен был увенчаться успехом с первого раза".[471] И здесь невозможно оценить, насколько масштабными и тщательными были его эксперименты, не просмотрев такие книги, как 'Одомашниваемые животные и растения' или "Способность растений к движению'. Бесконечное повторение слегка варьируемых комбинаций для проверки трудного или отдаленного вывода заставляет почувствовать, каким стойким и неиссякаемым было терпение. И после всех лет повторяющихся и разнообразных исследований он пишет почти патетический эпилог за шесть месяцев до своей смерти: "Я хотел бы, чтобы у меня хватило сил и духа начать новую серию экспериментов и опубликовать результаты с полным отказом от своих ошибок, когда я в них убедился".[429]

Наконец, эксперименты должны не только проводиться, но и регистрироваться, и точность, столь необходимая при любом научном наблюдении, здесь превыше всего, поскольку пропуск какого-либо звена в записи может нарушить непрерывность логической цепочки. Для Дарвина особенно характерно, что он хотел фиксировать ошибки так же, как и успехи. "Я помню", - говорит сын, - как сильно он призвал к необходимости учета ноты экспериментов, которые не удалось, и этого правила он придерживался всегда.'[430] значение сохранения и сравнивая, казалось бы, несущественное и бессмысленное ноты иногда вывели, а в особом случае орхидеи: 'я сдался этот случай как безнадежный, пока подводя итоги моих наблюдений, объяснения в настоящем, а впоследствии свидетельствуют неоднократные эксперименты, чтобы быть правильным, вдруг пришло мне в голову.'[431] многолетнем опыте собственных ошибок и неудач, вызывает крайний скептицизм в отношении результатов других: *'трудность в том, чтобы знать, чему доверять.'*[352] даже когда он предпринял величайшую боль, скептицизм часто задерживается и заставляет его повторять, хотя с одинаковым результатом: несмотря на тщательность и число судебных разбирательств, когда в следующем году я смотрел только на результаты, не читая по моим наблюдениям, я опять подумал, что там должны были некоторые ошибки, и тридцать пять свежих испытания проводились с слабым раствором; но результаты были четко обозначены как раньше.'[353] и, таким образом, длинный ряд упакованные в тесном печатных томов форм удивительный рекорд жизни усердный, настойчивый, любопытный экспериментов от начала и до конца.

### III

Теперь давайте посмотрим немного внимательнее на содержание и качество логических процессов Дарвина, рассматриваемых как таковые. Он сам часто жалуется на медлительность и сложность своего мышления. По его словам, ему трудно упорядочить свои мысли, ему трудно привести их в ясный и эффективный порядок, который несет с собой убежденность, почти усиливает убежденность силой своего собственного движения. Он говорит об одном из своих критиков: 'Он признает в определенной степени Естественный отбор, но я уверен, что он не понимает меня. Странно, что так делают очень немногие, и я совершенно убежден, что, должно быть, я крайне плохой объяснитель'.[354]

Стоит отметить комментарии Хаксли, как одного из самых верных друзей и сторонников Дарвина, о его способности рассуждать и процессах. Когда Романес восхваляет колоссальный интеллект Дарвина, Хаксли склонен возражать: 'Колоссальный, как мне кажется, неподходящий эпитет для интеллекта Дарвина. У него был ясный, быстрый интеллект, отличная память, живое

воображение, и его величие заключалось в строгом подчинении всего этого любви к истине".[355] В другом месте Хаксли добавляет: 'Изложение не было сильной стороной Дарвина — и его английский иногда прекрасен. Но в нем есть удивительная тупая проницательность, и он добирается до истины путями столь же темными, как у китайцев-язычников".[356] О "Происхождении видов" Хаксли пишет: "Это одна из самых трудных для полного понимания книг, которые я знаю".[357] И снова, более подробно: "Долгое занятие этой работой привело настоящего автора к убеждению, что "Происхождение видов" - одна из самых трудных для освоения книг, и он обоснован в этом убеждении, заметив, что, хотя "Происхождение" прошло почти тридцать лет до появления мира, но серьезные авторы все еще выдвигают самые странные ошибочные представления о сущностной природе отстаиваемой в нем теории".[358] Критики, менее дружелюбные к Дарвину, чем Хаксли, высказались еще более решительно.

Я чувствую, что суждение Хаксли слишком сурово. Верно, что Дарвин не обладал замечательным даром логического, ясного изложения, который сделал самого Хаксли одним из самых ярких научных писателей. Но даже когда рассуждения Дарвина наиболее сложны и трудноразрешимы, в них присутствует заметное качество искренности и целеустремленности, которое завоевывает и сохраняет вашу уверенность. Кажется, он каким-то образом обладает исключительной способностью вовлекать вас в свои ментальные процессы и заставлять вас думать, видеть и чувствовать так же, как он. Если вы чувствуете, что он может быть неправ, то это потому, что он чувствует, что он сам может быть неправ.

Полезно немного подробнее рассмотреть некоторые иллюстрации научного теоретизирования Дарвина. Великая центральная доктрина эволюции с ее опорой на естественный отбор заполнит нашу следующую главу, но есть несколько менее важных направлений в теории, которые заслуживают внимания. Вряд ли мне нужно говорить, что мы никоим образом не обсуждаем обоснованность теорий абстрактно, а просто то, как Дарвин формулировал, придерживался и поддерживал их.

Сначала существует теория образования коралловых рифов. В ранний период своей карьеры Дарвину пришла в голову идея, что эти рифы возникли в результате опускания океанского дна и неуклонного подъема коралловых насекомых к поверхности. Он сам признает, что эта теория была самой дедуктивной из всех, которые он когда-либо выдвигал, и наименее основанной вначале на широком и тщательном исследовании фактов. Александр Агассис, который после обширных исследований не был склонен принимать это, писал: "Все наблюдения Дарвина были теоретическими, основанными на картографических исследованиях в его доме, что было очень плохим способом ведения работ, и именно так были выполнены все его работы по коралловым рифам".[359] И теория встретила яростное противодействие со стороны многих кругов, хотя один критик сказал по этому поводу: 'Правда это или нет, компетентное объяснение или нет, неважно. По влиянию на геологию это было таким же далеко идущим, каким доктрина естественного отбора была для биологии".[360] Но сам Дарвин цеплялся за это до конца, встречая возражения с огромной изобретательностью и подтверждая свои позиции более обширными и убедительными аргументами. И все же, несмотря на всю настойчивость, есть готовность в любой момент увидеть другую сторону. 'Я все еще должен придерживаться своего мнения, что атоллы и барьерные рифы посреди Тихого и Индийского океанов указывают на оседание, но я полностью согласен с вами, что такие случаи, как на островах Пелью, если они вообще происходят часто, делают мои общие выводы очень малоценными. Будущие

наблюдатели должны решить между нами".[361] И он откровенно пишет Александру Агассису: "Если я ошибаюсь, то чем скорее меня стукнут по голове и уничтожат, тем лучше".[362]

Другим примером рвения и изобретательности Дарвина в рассуждениях является теория полового отбора, разработанная с учетом некоторых трудностей в его общей аргументации. Многие животные обладают определенными так называемыми вторичными половыми признаками, то есть признаками, затрагивающими только один пол, но не участвующими непосредственно в репродуктивном процессе. Дарвин полагал, что эти характеристики были в значительной степени развиты в результате действия естественного отбора на основе предпочтения особей одного пола особям другого в целях спаривания. Иными словами, великолепие хвоста самца павлина делало его более привлекательным для самки и, следовательно, более успешным у нее. В этой точке зрения, такой как предположение о тонком эстетическом восприятии у сравнительно низкоорганизованных существ, были многочисленные и очевидные трудности, и это с самого начала вызывало бурные споры. Уоллес, пылкий единомышленник и соавтор Дарвина, относился к этому отнюдь не благосклонно. И все же вера Дарвина никогда по-настоящему не была поколеблена. Он упорствовал до конца, проводя новые эксперименты и расследования и отвечая на возражения своих противников с помощью огромных и разнообразных ресурсов. В "Происхождении человека" он писал: "Со своей стороны, я прихожу к выводу, что из всех причин, которые привели к различиям во внешнем облике между человеческими расами и в определенной степени между человеком и низшими животными, половой отбор был наиболее эффективным".[363] Тем не менее, увлекательно видеть, как он раскрывает сомнения и вопрошания, которые с убежденностью зародились в его уме. Он пишет Уоллесу: "Мне горько отличаться от вас, и это на самом деле пугает меня и заставляет постоянно не доверять самому себе".[364] Снова: "Вам будет приятно услышать, что я испытываю серьезные страдания из-за защиты и полового отбора; этим утром я колебался от радости по отношению к вам; этим вечером я качнулся назад к своему [старому] положению, из которого, боюсь, никогда не выберусь".[365] И он подводит итог этому процессу общим замечанием самого масштабного и плодотворного содержания: "Иногда я поражаюсь, насколько истина прогрессирует, так трудно одному человеку убедить другого, если только его разум не пуст. Тем не менее, я сам в определенной степени противоречу своему собственному замечанию, поскольку я гораздо больше верю в важность защиты, чем до прочтения ваших статей".[366]

Еще одним примером теоретизирования является доктрина пангенезиса. Общая теория эволюции Дарвина, которая так много занималась наследственностью, была тесно связана с трудностью понимания того, как одна крошечная репродуктивная клетка могла передавать по наследству все сложное разнообразие органов и функций высокоразвитого растения или животного. Чтобы справиться с этой трудностью, он придумал объяснение пангенезиса (он сомневается в названии, потому что "моя жена говорит, что оно звучит порочно, как пантеизм"),[367] то есть идею о том, что примитивная клетка содержит большое количество *геммул*, каждая из которых передает и порождает какой-то определенный орган с его разнообразными функциями. И здесь теория в том виде, в каком ее представлял Дарвин, не нашла всеобщего признания, хотя в некоторых отношениях она удивительно предвосхищает результаты новейших современных исследований. Но самое интересное - наблюдать за рвением, с которым изобретатель разрабатывал его, и за изоощренной аргументацией, с которой он проводит его в последней части великого труда 'Одомашниваемые животные и растения'. Он признает, что это трудно. Он никого не винит за то, что кто-то оспаривает это, или отвергает это,

или даже за то, что смеется над этим. "Гипотеза Пангенезиса, применяемая к нескольким большим классам фактов, которые только что обсуждались, без сомнения, чрезвычайно сложна, но таковы и факты".[368] И затем он позволяет своему воображению более широко, чем обычно, обдумывать возможные выводы и следствия: "Насколько мне известно, не было предпринято никакой другой попытки, какой бы несовершенной она, по общему признанию, ни была, объединить под одной точкой зрения эти несколько больших классов фактов. Органическое существо — это микрокосм, маленькая вселенная, образованная из множества самораспространяющихся организмов, непостижимо мельчайших и многочисленных, как звезды на небе".[369] Однако здесь он снова делает неизбежную оговорку и в своем автобиографическом очерке говорит: 'Ближе к концу работы я излагаю свою изрядно потрепанную гипотезу пангенезиса. Непроверенная гипотеза имеет малую ценность или вообще не имеет никакой ценности; но если в дальнейшем кого-нибудь побудят провести наблюдения, с помощью которых можно было бы установить какую-либо подобную гипотезу, я окажу хорошую услугу".[370]

Иногда кажется удивительным, что при такой заметной склонности к абстрактным рассуждениям, которую было так трудно контролировать, Дарвин всегда был так безразличен к философской мысли по основным вопросам устройства вселенной. Он признает, что мало знал о метафизике и мало интересовался ею. Но это опять-таки поучительно в отношении своеобразного равновесия его темперамента. Ему нравилось размышлять, но он ни на мгновение не стал бы размышлять без твердой фактической основы. Сначала его ноги должны опираться на твердую, осязаемую землю. Тогда, если бы его голова не доставала до облаков, он держался бы подальше от них.

#### IV

Будет полезно более подробно рассмотреть некоторые конкретные элементы рассуждений Дарвина. Во-первых, мы видели повсюду и во всех отношениях, что его склонность к страстному теоретизированию была смягчена неизменным чувством сомнения и недоверия. Он действительно всегда был склонен действовать в духе замечания Вейсмана: "Когда мы сталкиваемся с фактами, которые, как мы видим, невозможно понять, кроме как на основе единственной гипотезы, даже если она недоказуема, мы, естественно, склоняемся к принятию гипотезы, по крайней мере, до тех пор, пока не будет найдена лучшая".[371] И он полностью осознал силу комментария, который Хаксли делает к фразе Гете о том, что сомнение не должно быть пагубным или разрушительным, но плодотворным и стимулирующим: "У Гете есть превосходная идея". афоризм, определяющий то состояние ума, которое он называет "*Thätige Skeptisis*" — активное сомнение. Именно сомнение так любит истину, что не осмеливается ни успокаиваться в сомнении, ни уничтожать себя неоправданной верой".[64] В то же время сомнение присутствовало, было темпераментным и не могло быть полностью устранено, даже когда напор логического импульса был максимальным. Одно из многих прекрасных выражений этого звучит так: "Когда ты говоришь, что не можешь совладать с ходом мыслей, я достаточно хорошо знаю, что они слишком сомнительны и неясны, чтобы ими можно было овладеть. Я часто испытывал то, что вы называете унижающим чувством все больше и больше погружаться в сомнения по мере того, как человек думает о фактах и рассуждает по сомнительным пунктам".[65] Правда в том, что Дарвин в высокой степени обладал качеством, часто столь мешающим человеку практических действий, но бесценным для мыслителя, - способностью выходить за пределы самого себя и своей собственной точки зрения и

критиковать ее, как если бы это была точка зрения кого-то другого. Он сам убедительно указывает на это в связи с возвращением к своим идеям после перерыва: "Задержка в этом случае, как и во всех других моих книгах, была для меня большим преимуществом; ибо человек после долгого перерыва может критиковать свою собственную работу почти так же, как если бы это была работа другого человека".[66] Некоторые люди могут.

Еще одной характеристикой психических процессов Дарвина является его манера справляться с трудностями. Прирожденный мыслитель склонен пренебрегать препятствиями и возражениями, с бесконечной изобретательностью посвящать себя их устранению, вместо того чтобы смотреть им прямо в лицо. Дарвин был достаточно изобретателен, но он не уклонялся от трудностей. Вместо этого он был склонен, если уж на то пошло, создавать их и искать. О Пастере, во многом столь похожем на Дарвина, было сказано: "Ни один противник М. Пастера не сформулировал этот аргумент; но М. Пастер, имевший внутри себя вездесущего противника, всегда настороже и решивший уступить только силе накопленных доказательств, сам выдвинул возражение".[67] И так, Дарвин. Как он сам пишет, и ни один мыслитель никогда не устанавливал более важного принципа или чего-то более показательного для его собственной ментальной структуры: "Я также в течение многих лет следовал золотому правилу, а именно: всякий раз, когда мне попадался опубликованный факт, новое наблюдение или мысль, противоречащие моим общим результатам, обязательно и немедленно записывать это; ибо я по опыту обнаружил, что такие факты и мысли гораздо более склонны ускользать из памяти, чем благоприятные".[68] И интенсивное осознание возражений и трудностей проявляется еще более ярко в предложении: " Я не могу слишком решительно выразить свою убежденность в общей истинности моих доктрин, и Бог свидетель, я никогда не уклонялся от трудностей".[69]

Осознание препятствий и осложнений, постоянно возникающих отовсюду, естественно, потребовало бесконечного пересмотра. И здесь привычный мыслитель, однажды установив свою форму, неохотно ее меняет. Не так с Дарвином. Действительно, бывают моменты, когда даже он восстает и заявляет, что более плодотворно следовать новыми путями, чем постоянно корректировать старые. Но в целом его готовность изменять и реконструировать безгранична. Он пересматривает и работает над своими книгами. При этом он продемонстрировал характерную для него склонность принимать суждения других и подчиняться им. Как очарователен рассказ об этом его дочери: 'Он всегда был так готов убедиться, что любое предложенное изменение является улучшением, и так полон благодарности за потраченные усилия. Я не думаю, что он когда-нибудь забывал сказать мне, какое улучшение, по его мнению, я внес, и он почти всегда извинялся, если не соглашался с каким-либо исправлением. Я думаю, что почувствовал исключительную скромность и милосердие его натуры, работая на него так, как я никогда бы в противном случае не стал этого делать".[70] Нет лучшего способа оценить масштабы и настойчивость пересмотра Дарвином, чем провести хотя бы беглое сравнение первого и последнего изданий "Происхождения". Почти на каждой странице представлены незначительные или значительные изменения, и хотя некоторые из них, без сомнения, являются просто языковыми, многие оказывают влияние, пусть и незначительное, на ход рассуждений, углубляя, усиливая или проясняя его.

Полезно также понаблюдать за отношением Дарвина к аргументации, за прямым обменом мнениями тех, кто принимает разные стороны в деле и одновременно стремится продвинуть

свою собственную и обнаружить недостатки в позиции своего оппонента. Совершенно очевидно, что он не был быстрым и естественным спорщиком, как, например, Хаксли. Его сын говорит: 'Он часто говорил о себе, что недостаточно быстр, чтобы с кем-либо поспорить, и я думаю, что это было правдой. Если бы это не был предмет, над которым он как раз тогда работал, он не смог бы достаточно быстро привести аргументацию в рабочее русло'.<sup>[71]</sup> И Дарвин признается в том же самом со своей неизменной, очаровательной наивностью в письме Хукеру: 'Я поражен вашим успехом и смелостью. Для меня непонятно, как кто-то может спорить публично, как это делают ораторы. Я понятия не имел, что у вас есть такая сила'.<sup>[72]</sup>

Споры преследовали его, будоражили, беспокоили. За активной дискуссией обычно следовала беспокойная ночь, наполненная вещами, которые могли и должны были быть сказаны, но не были. Даже о разговоре, весьма далеком от его научных интересов, он говорит: "Ваша рабская дискуссия меня сильно встревожила; но поскольку мое мнение по этому поводу вас интересует не больше, чем пепел этого письма, я ничего не скажу, кроме того, что это доставило мне несколько бессонных, в высшей степени неприятных часов".<sup>[73]</sup>

Дар, о котором я говорил ранее, - умение выходить за рамки своей собственной позиции и судить о ней так, как это сделал бы другой, - хотя и приносит пользу результатам спора, больше всего затрудняет процесс, поскольку человек обнаруживает, что излагает аргументы своего оппонента иногда более убедительно, чем он сам. Дарвин часто повторяет принцип, который я цитировал ранее, распознавания и регистрации возражений, и он подводит итог своему методу в отношении своей основной теории: "Я на некоторое время решил приводить аргументы *собеих* сторон (насколько я мог) вместо того, чтобы спорить только о стороне изменчивости".<sup>[74]</sup>

И все же, несмотря на все напряжение и старания аргументировать, ему это нравилось, и он верил в это. В заключительной главе "Происхождения" он говорит: "Весь этот том - один длинный спор".<sup>[75]</sup> Это, безусловно, так. В другом месте он говорит о личном разговоре: "Я был особенно рад нашей беседе после ужина; сражение с вами всегда чудесным образом проясняет мой разум".<sup>[76]</sup> Прояснить разум, пролить свет на и прояснить сложный клубок мыслей и теорий - это всегда было целью, и если словесные баталии помогали этому, они были желанны.

Но если ему нравились искренние, серьезные споры, то он ненавидел полемику, ожесточенную войну возбужденных личных чувств, направленную скорее на достижение индивидуального триумфа, чем на доказательство абстрактной теории. Он осуждал и сожалел о вреде, неизбежно наносимом науке подобными спорами, и не испытывал ничего, кроме отвращения к проявлениям гнева, которые неизбежно сопровождали их: "Я был на днях вечером в Зоологическом обществе, где выступающие рычали друг на друга совсем не так, как подобает джентльменам".<sup>[77]</sup>

Когда его собственные взгляды были полны горечи, что, увы, случалось слишком часто, он выражал глубочайшее сожаление: 'Я часто думаю, что мои друзья ... у них есть веские причины ненавидеть меня за то, что я разворошил столько грязи и втянул их в столько отвратительных неприятностей. Если бы я был другом самому себе, я бы возненавидел себя'.<sup>[78]</sup> Он рано принял решение по возможности избегать ссор и в целом поздравил себя с успехом: "Я рад, что избежал споров, и этим я обязан Лайеллю, который много лет назад, ссылаясь на мои геологические работы, настоятельно посоветовал мне никогда не ввязываться в споры,

поскольку это редко приносило какую-либо пользу и приводило к ужасной потере времени и самообладания".[79]

Таким образом, всякий раз, когда это было возможно, он избегал споров, и если по какой-либо случайности поспешность и рвение вовлекали его в ошибочное дело, он горько сожалел о своей ошибке и был готов признать ее с предельной откровенностью. Одним из наиболее поразительных примеров этого является случай с параллельными дорогами в Глен-Рое, относительно которых Дарвин разработал геологическую теорию, которую он утверждал с большой долей убежденности. Тщательное рассмотрение аргументов своего оппонента вынудило его признать, что он был полностью неправ, и он сдался, хотя и с болью в сердце: 'Я сегодня очень плох, и очень глуп, и ненавижу всех и вся. Человек живет только для того, чтобы совершать грубые ошибки'.[80] Его признание своей ошибки было исчерпывающим и полным.

Именно его естественная откровенность в признании своих ошибок и стремлении их исправить сделала Дарвина таким привлекательным. Гете жалуется на склонность многих людей повторять искаженное утверждение, потому что они уже однажды его сделали.[81] Такое повторение ни в малейшей степени не понравилось Дарвину. Иногда он был раздражен и раздосадован позицией своих противников, и он выражал это раздражение с той же откровенностью, с какой относился к другим вещам; но никогда не было никаких попыток скрыть свои промахи или отстоять свои собственные позиции просто потому, что они принадлежали ему.

Действительно, в этом отношении, как и во всех других, его отличала исключительная и очаровательная искренность. Именно это делает его письма такими привлекательными и такими откровенными. Это не великие литературные письма. Они всегда написаны бессистемно и с предельной небрежной прямоотой. Но немногие переписки литераторов или любых других раскрывают человека с такой ясностью и выигрышной амплитудой. Он открывает свое сердце и ведет вас прямо в него, без малейшего намека на самораскрытие, а просто, как если бы он думал с вами вслух, такой, какой он есть. Возьмем, к примеру, среди ошеломляющей массы иллюстраций его признание в чувстве неполноценности по отношению к Спенсеру: "Я чувствую себя довольно скверно, когда читаю его: Я мог бы вынести, скорее насладиться ощущением, что он вдвое изобретательнее и умнее меня, но когда я чувствую, что он примерно в дюжину раз превосходит меня, даже в мастерстве извиваться, я чувствую себя обиженным".[82] Или это другое признание Хукеру: "Как откровенно и кротко ты воспринял мою иеремиаду о твоей строгости к людям второго сорта. После того, как я отправил его, противный тоненький голосок спросил меня, раз или два, насколько моя благородная защита бедных духом и на самом деле была обусловлена тем, что вы нередко разбивали мои собственные любимые представления. Я презрительно заставил замолчать этот уродливый голосок, но он продолжал шептать снова и снова".[83] Ощущение, атмосфера всепроникающей искренности - вот что так превосходно выразил Хаксли, когда говорил о том, что Дарвин обладал "некой интенсивной и почти страстной честностью, которой все его мысли и действия были озарены, как центральным огнем. Именно этот величайший и редчайший дар удерживал его живое воображение и огромные спекулятивные способности в должных пределах ... это заставляло его принимать критику и предложения от кого угодно и ото всех, не только без нетерпения, но и с выражениями благодарности, иногда почти комичными, превышающими их ценность".[84]

Ибо честность и прямота не только заставили его признать свои собственные ошибки, но и сделали его необычайно готовым признавать достоинства других и терпимо относиться не

только к их взглядам, но даже к их догматическому их утверждению. Он постоянно совершал ошибки, и все же он знал, что искренен и преследует высокие цели. Почему другие не должны быть такими же? Почему их теории не должны быть правильными, а его - неправильными? "Для кого-либо, кроме меня, очень мало имеет значения, ошибаюсь ли я в большей или меньшей степени по тому или иному пункту; на самом деле, я уверен, что ошибаюсь по многим пунктам".[85] О том, кто с ним не соглашался, он мог сказать: "Я ничего не знаю о нем, кроме как из его писем: они демонстрируют незаурядный талант, поразительную настойчивость, большую скромность и то, что я восхищаюсь, определяет отличие от меня по многим пунктам".[86] И как убедительна его защита лентяев, тех, кто плохо выполняет работу, которая не совсем плохая: 'Вы сочтете меня очень дерзким, если я скажу вам, что иногда я так думал?.. вы слишком строги к плохим наблюдателям; что замечание, сделанное плохим наблюдателем, не может быть правильным; наблюдателя, который заслуживает того, чтобы его прокляли, вы бы прокляли окончательно. Я с полным уважением отношусь к любому замечанию, которое вы делаете из своей собственной головы; но когда я выступаю против какого-нибудь бедняги, я почему-то невольно чувствую себя не так сильно".[87]

Правда в том, что терпимость Дарвина была основана, как и всякая настоящая терпимость, на обширном и навязчивом ощущении его собственного невежества. Снова и снова он повторяет и подчеркивает, как мало он знает, как мало знает кто-либо другой, и насколько мелки, несовершенны и неадекватны усилия любого из нас проникнуть за завесу тайны, которая включает в себя глубочайшие тайны жизни. Для исследования этой тайны нам дан лишь тусклый и мерцающий факел разума. И те, кто лучше всех знаком с разумом и лучше всего им пользуется, больше всего ему не доверяют. Когда гораздо более надежное руководство инстинкта подводит нас, разум является нашей единственной поддержкой, и мы должны использовать его не только для более масштабных спекулятивных целей, но и для принятия практических решений. В лучшем случае это яркий и великолепный инструмент, невероятно острый и пронизательный, способный творить чудеса в руках тех, кто умело им манипулирует. Но это инструмент столь же тонкий, сколь и яркий, и он теряет остроту, если не прилагать постоянных усилий для поддержания его в рабочем состоянии. Кроме того, это сокращает оба пути, причем во всех отношениях, и даже для опытного манипулятора, возможно, для него в первую очередь, это может быть трудным, опасным, вероломным.

Существует тонкая, непостижимая связь разума с нашими желаниями и предрассудками. Один умный француз сказал, что разум был дан нам для того, чтобы мы могли оправдывать удовлетворение наших страстей, и когда мы видим, как логические приемы могут быть использованы для перехода от любых посылок к любому выводу, ощущается сила взгляда француз.

Никто не был более осведомлен, чем Дарвин, об этих опасностях и трудностях разума или о бесконечных возможностях обмана, когда человек отдается этой чарующей и вводящей в заблуждение сирене. Он часто подчеркивает свое огорчение и почти отчаяние, обнаружив, что делает выводы, совершенно отличные от тех, которые другие делают из тех же фактов. "Действительно отвратительно и унижительно видеть прямо противоположные выводы, сделанные из одних и тех же фактов".[88] И еще: "Ничто так не раздражает меня, как постоянное нахождение себя в том, что я делаю разные выводы от лучших судей, чем я сам, из одних и тех

же фактов".[89] И еще раз: "Больше всего на свете я ненавижу быть несогласным с любым способным судьей, когда предпосылки одни и те же".[90]

Эти комментарии позволяют нам ясно увидеть, каково было отношение Дарвина к разуму. Немногие мыслители были такими готовыми, такими плодовитыми, такими изобильными, такими изобретательными, но в то же время такими трезвыми, такими сдержанными и контролируемыми.

С этим анализом его наблюдений и его мыслей мы готовы приступить к главному интересу жизни Дарвина - драматическому изучению концепции, разработки, распространения и триумфа его эволюционной теории.

## ГЛАВА III ДАРВИН: ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

Я

Слово 'эволюция' настолько общепринято и так широко используется в связи с теориями Дарвина, что его никогда не заменят; но оно не является полностью удовлетворительным, потому что всегда предполагает прогресс от низшего к высшему и, следовательно, предполагает трудное и противоречивое определение терминов. Возможно, более точной была бы такая фраза, как "происхождение с модификацией". Но какой бы термин ни использовался, связывать его как научную теорию или открытие исключительно с Дарвином или любым другим человеком было бы абсурдно. Естественная гипотеза более ранних мыслителей заключалась в том, что божественная созидательная сила, в какой бы форме она ни была, создала различные формы жизни на земле практически в том виде, в каком они существуют сегодня. Но те, кто смотрел глубже, были склонны предположить, ввиду тесных и очевидных уз родства между всеми живыми существами, что разнообразие развилось из сравнительного единства и что жизненный импульс, появившись сначала в элементарных формах, постепенно развился во все более и более сложных организмах. Огромные усилия, которые приложил Дарвин, чтобы обосновать эту точку зрения, вместе с его конкретным объяснением того, как возник этот процесс, навсегда связали идею эволюции с его именем, но он не был ее инициатором и не утверждал, что сделал это.

Различные намеки и проявления более ранней эволюционной теории превосходно освещены в книге профессора Осборна 'От греков до Дарвина'. Огромное любопытство и рефлексия Аристотеля предвосхитили здесь, как и везде, и некоторые из его предложений имеют поразительное эволюционное значение: "Разнообразие в жизни животных может быть вызвано разнообразием местности".[389] "Местность также будет дифференцировать привычки; например, суровые высокогорья не приведут к тем же результатам, что мягкие низменности".[390] А Эмпедокл излагает взгляды Дарвина еще более прямолинейно. В рамках режима библейской и христианской традиции эволюционная мысль, естественно, продвинулась вперед незначительно. Но с появлением большей свободы в восемнадцатом веке снова появились представления о модификации по происхождению. В Англии дед Дарвина,

Эразм, поэт-ботаник, с любопытством размышлял на эту тему, и были различные другие намеки, особенно в "Следах творения" Чемберса, в то время как сам Дарвин чувствовал, что на него оказали большое влияние геологические теории Лайелла. В Германии Гете глубоко заинтересовался метаморфозами жизни. Особенно во Франции Бюффон и Сент-Илер привели к 'Зоологической философии' Ламарка, которая выдвинула теорию модификации в очень определенной форме и предложила способ, которым эта модификация была осуществлена. Идея Ламарка заключалась в том, что растения и животные благодаря врожденному жизненному импульсу приспосабливаются к окружающей среде и что эти приспособления передаются по наследству. Таким образом, у болотных птиц появились перепончатые лапы, а шея жирафа удлинилась в попытке добыть себе пищу с ветвей деревьев. Большим камнем преткновения этой теории всегда была трудность доказательства того, что приобретенные приспособления передаются по наследству.[A]

## СНОСКИ:

[A] Исследователи, конечно, постоянно и настойчиво работали над этим вопросом, и я обнаружил, что профессор Уильям Макдугалл цитирует в редакционной статье Boston Herald от 16 августа 1926 года слова: "Виды могут изменяться и претерпевать эволюцию благодаря усилиям отдельных родителей приспособиться к условиям".

Что, однако, представляет для нас интерес, так это отношение Дарвина к своим более непосредственным предшественникам, Бюффону, Ламарку, Чемберсу и др. Такое отношение часто комментировалось Сэмюэлем Батлером и другими, и понять его не совсем легко. То, что Дарвин в своих ранних размышлениях, так же как и в более поздних, находился под влиянием предыдущих исследователей, достаточно очевидно, например, в таких штрихах, как в "Путешествии бигля": "Природа, сделав привычку всемогущей, а ее последствия наследственными, приспособила огнеземлянина к климату и растениям его несчастной страны".[391] Кроме того, его частые комментарии показывают, что он знал, что было написано до него, и извлек из этого пользу, и в более поздних изданиях "Происхождения" он приложил некоторые усилия, чтобы признать это обязательство. Тем не менее, тон его писем отнюдь не уважительный, и особенно о Ламарке, который сделал больше всех, ему трудно говорить без насмешки. Так, в 1844 году он пишет: 'Боже упаси меня от нелепостей Ламарка о "тенденции к прогрессированию", "адаптации из-за медленного желания животных" и т.д.! Но выводы, к которым я пришел, не сильно отличаются от его; хотя средства изменения полностью совпадают".[392] Снова, немного позже: "Что касается книг по этому предмету, я не знаю ни одной систематической, кроме книги Ламарка, которая является настоящим вздором".[393] И еще позже, в 1859 году, он пишет Лайеллю: "Вы часто ссылаетесь на работу Ламарка; я не знаю, что вы думаете о ней, но она показалась мне чрезвычайно убогой; я не почерпнул из нее ни факта, ни идеи".'[394]

Были предложены различные объяснения отношения Дарвина к Ламарку. По крайней мере, одну из склонностей уничтожать предшественника из ревности мы можем исключить настолько абсолютно, насколько это возможно при плохой человеческой природе. Все, что мы знаем о Дарвине в других связях, оправдывает нас в этом. Профессор Осборн, сославшись на "пренебрежительные намеки на него [Ламарка] Чарльза Дарвина (единственного писателя, о котором Дарвин когда-либо говорил в таком тоне)"[395], замечает, что "из всей критики Дарвина в адрес Ламарка совершенно очевидно, что он никогда тщательно не изучал его в

оригинале".[396] Но против этой точки зрения мы должны противопоставить собственный комментарий Дарвина (курсив мой): "То, что я считаю, после *двух обдуманных прочтений*, плохой книгой и одним из самых от чего (я хорошо помню свое удивление) Я ничего не выиграл".[397] Это правда, что Дарвин, как и в приведенной выше цитате относительно 'адаптации в результате медленного волеизъявления животных', очевидно, неверно истолковал взгляд Ламарка на самоадаптацию индивида к окружающей среде, превратив его в абсурдное предположение, что животные и даже растения сознательно стремились к собственному эволюционному прогрессу; но, с другой стороны, Дарвин всю свою жизнь, и особенно в более поздний период своей жизни, колебался в пользу теорий адаптации Ламарка. Было высказано предположение, что в университетские годы Дарвина французская мысль и французские ученые были явно в немилости и что Дарвин проникся к ним стойкой неприязнью.[398] Сам Дарвин намекает, что на него, возможно, повлияло предубеждение в пользу своего деда как предшественника Ламарка. Но представляется более вероятным, что он недолюбливал Ламарка, потому что считал его теоретиком и спекулянтом, который не основывал свои аргументы на достаточно широкой фактической основе, в то время как Дарвин годами трудился над наблюдениями и экспериментами, прежде чем вообще представил свою теорию миру. Это объяснение содержится в замечании Дарвина Лайелю: 'Что касается Ламарка, то, поскольку с вами такой человек, как Гроув, вы торжествуете; не то чтобы я мог изменить свое мнение о том, что для меня это была абсолютно бесполезная книга. Возможно, это произошло из-за того, что я всегда искал факты в книгах'.[399] В любом случае нельзя не пожелать, чтобы Дарвин говорил о таком выдающемся и столь высоко почитаемом человеке, как Ламарк, немного по-другому.

## II

Дарвин впервые заинтересовался идеей модификации путем спуска во время своего путешествия на "Бигле" в 1837 году.[400] В ранние годы он был удовлетворен традиционно ортодоксальной теологической и научной концепцией создания отдельных видов, и вся его юношеская работа была основана на этой точке зрения. Такие фразы, как записка, написанная в 1834 году в Вальпараисо: "Кажется не очень невероятным предположение, что нехватка животных может быть вызвана тем, что они не были созданы с тех пор, как эта страна поднялась из моря",[401], очевидно, важны для более раннего отношения. Но по мере того, как он расширял свои наблюдения и все больше и больше впечатлялся бесконечным разнообразием форм и тонкостью оттенков, с которой они переходят друг в друга, росло убеждение, что возможности развития безграничны и что индивидуальные различия могут переходить в разновидности, а те снова в виды, делая происхождение разнообразной жизни гораздо более простым и унифицированным, чем когда-либо представлялось. И такой эволюционный процесс казался гораздо более согласующимся с общими законами природы, чем внезапное появление фиксированных, высокоорганизованных форм в неожиданном количестве. Как он говорит, "эта тема преследовала меня", и с самого раннего периода он начал делать заметки и меморандумы обо всех наблюдениях, которые могли свидетельствовать за — или против — постепенной модификации видов.

- led to comprehend two affinities. <sup>second step</sup> by theory  
 would first test to Comparative Anatomy & it  
 would lead to study of instincts heredity & mind heredity,  
 while metaphysics. It would lead to descent & emergence  
 of hybrid degeneration, causes of change <sup>in order</sup> to know what we  
 have come from - to what we tend. -  
 to what circumstances form & what prevents it.  
 this <sup>next</sup> examination of direct prop-ies of species structure in  
 species might lead to laws of change, which would then  
 be main basis of study to guide in past speculations.

# СТРАНИЦА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1837 ГОДА

Трудность заключалась в том, чтобы представить, как именно происходил процесс модификации, и до тех пор, пока он не смог пролить некоторый свет на этот момент, его энтузиазм по поводу общей идеи был охлажден и сбит с толку. Как мы видели, точка зрения Ламарка о том, что живые существа непосредственно приспосабливаются к окружающей среде, а затем передают эти приспособления своим потомкам, казалась по меньшей мере неадекватной, и Дарвин чувствовал, что теория должна иметь какую-то более прочную основу, если она вообще хочет восторжествовать. Он настроил свой разум на работу в течение многих месяцев и применил интеллектуальный метод, который он сам так превосходно определил в письме своему маленькому сыну: «Прошлой ночью я размышлял о том, что делает человека первооткрывателем неоткрытых вещей; и это самая запутанная проблема. Многие очень умные люди — гораздо умнее первооткрывателей — никогда ничего не создают. Насколько я могу предположить, искусство состоит в привычном поиске причин и смысла всего, что происходит». [402]

В поисках причины и смысла всего происходящего он, наконец, достиг открытия, которого искал, и таким образом познал то, что, несомненно, является одним из величайших духовных наслаждений. В значительной степени наблюдая и изучая результаты преднамеренного отбора человеком растений и животных, он пришел к своему великому принципу естественного отбора, то есть предположил, что все живые существа склонны изменяться индивидуально, что в напряженной борьбе за существование будут сохранены и переданы те вариации, которые полезны и помогают организму жить и процветать. Причины изменчивости, будь то спонтанные или обнаруживаемые в окружающей среде, Дарвин никогда не претендовал на полное объяснение. Что касается принципа естественного отбора, или, как выразился Спенсер в форме, которую Дарвин признал в некоторых отношениях более удовлетворительной, «выживания наиболее приспособленных», то, возможно, его первооткрыватель не дал лучшего выражения, чем предложения во втором томе великого труда «Одомашниваемые растения и

животные': 'Рассмотрения предмета с этой точки зрения достаточно, чтобы человек онемел от изумления. Но наше изумление должно уменьшиться, когда мы подумаем о том, что у существ, почти бесконечных по численности, в течение почти бесконечного промежутка времени вся их организация часто становилась в некоторой степени пластичной, и что каждое незначительное изменение структуры, которое каким-либо образом приносило пользу в чрезмерно сложных условиях жизни, сохранялось, в то время как каждое, которое каким-либо образом приносило вред, было строго уничтожено. И продолжительное накопление полезных вариаций безошибочно приведет к созданию структур столь же разнообразных, столь же прекрасно приспособленных для различных целей и столь же превосходно скоординированных, какие мы видим у окружающих нас животных. Поэтому я говорил об отборе как о высшей силе, применяемой либо человеком для образования домашних пород, либо природой для выведения видов".[403]

Не следует предполагать, что первое понимание эволюции через вариации и естественный отбор могло привести к полному предвидению огромных изменений, ментальных, моральных и духовных, которые, вероятно, должна была произвести такая теория. И все же такой острый и деятельный ум, как у Дарвина, должен был уловить какие-то намеки на эти изменения. Например, поразительная и смертоносная легкость, с которой старые механизмы Провиденциальной адаптации и замысла превратились в новом свете в простые действия механического закона, не могла не предвещать философский и теологический переворот, который, несомненно, за этим последует. Дух, воспитанный в традиционной атмосфере начала английского девятнадцатого века, неизбежно должен был относиться к такому перевороту с определенной долей сомнения, благоговения и даже смятения; и Дарвин, бесспорно, испытывал нечто из этих чувств, смешанных с торжествующей радостью открытия.

Для этого человека глубоко характерно, что он не поспешил сообщить об открытии миру, чтобы получить немедленное возбуждение и славу, оставив обсуждение и обоснование на потом. Он был настолько нерешителен, настолько сомневался в своих собственных методах и силах, что даже откладывал занесение своих догадок в свои записные книжки, чтобы они не ожесточились и не исказились предвзятым утверждением и не ввели в заблуждение. Его единственной идеей было получить подтверждение каждым направлением исследований и экспериментов, и в течение двадцати лет он трудился с нарочитым терпением, прежде чем решился на попытку придать своим результатам форму, пригодную для публикации.

И все это время он прекрасно представлял себе, что смерть может помешать ему когда-либо обнародовать это открытие. И все это время существовал шанс, что в мире научной мысли, который бурлил вокруг него, кто-нибудь другой может опередить его и распространить эту идею, возможно, в форме менее убедительной и менее содержательной, чем он был бы в состоянии ей придать. Как раз в тот момент, когда он подходил к той стадии подготовки, к которой стремился, казалось вероятным, что произойдет именно это. В июне 1858 года Альфред Рассел Уоллес, известный и способный ученый, с которым Дарвин переписывался, прислал ему статью, во многом предвосхищавшую идеи Дарвина о естественном отборе, настолько, что Дарвин написал об этом Лайеллу: "Я никогда не видел более поразительного совпадения; если бы Уоллес заказал мой набросок MS. sketch, написанный в 1842 году, он не смог бы составить лучшего краткого реферата; ... таким образом, вся моя оригинальность, в чем бы она ни заключалась, будет разбита вдребезги".[404] И он даже сомневался, стоит ли ему вообще обнародовать свои взгляды, опасаясь лишиться Уоллеса авторитета: "Я бы предпочел сжечь всю

свою книгу, чем допустить, чтобы он или кто-либо другой подумал, что я поступил подло".[405] Трудность, однако, была устранена друзьями, и совместный доклад Дарвина и Уоллеса был зачитан на заседании Линнеевского общества 1 июля. , 1858, дав миру первое представление о том, что должен был означать естественный отбор. Сэр Джозеф Хукер пророчески написал об этой встрече: "Интерес, вызванный, был очень велик, но тема была слишком новой и слишком злобещей, чтобы представители старой школы могли выйти на ристалище до того, как их возьмут на вооружение. После встречи об этом говорили, затаив дыхание".[406]

Отношение между Дарвином и Уоллесом в отношении приоритета открытий - одна из прекраснейших вещей во всей истории науки. Не было ни ревности, ни горечи, ни язвительности, а вместо этого полное признание достижений друг друга и сочувственное взаимопонимание, которое переросло в полезную и нерушимую дружбу. Изложение Уоллесом этого вопроса спустя много лет после смерти Дарвина настолько благородно в своем бескорыстии, насколько это возможно выразить словами: 'Но что часто забывается прессой и общественностью, так это то, что эта идея пришла в голову Дарвину в 1838 году ... почти на двадцать лет раньше, чем мне, и что в течение всех двадцати лет он трудился, собирая доказательства из огромной массы литературы по биологии, садоводству и сельскому хозяйству.... Таковы факты дела, и у меня не было бы причин для жалоб, если бы соответствующие доли принадлежали Дарвину и мне ... отныне она оценивалась примерно пропорционально тому времени, которое каждый из нас уделил ей ... то есть от двадцати лет до одной недели".[407] Резюме Дарвина, более общее, в равной степени достойно и того, и другого: 'Я надеюсь, вам доставит удовольствие поразмыслить — и очень немногие вещи в моей жизни были для меня более приятными, — что мы никогда не испытывали никакой ревности друг к другу, хотя в каком-то смысле были соперниками. Я верю, что могу сказать это о себе с правдой, и я абсолютно уверен, что это верно и в отношении вас".[408]

Таким образом, первое обнародование дарвинистских идей вместе с идеями Уоллеса было сделано в июле 1858 года. В следующем году, в ноябре 1859 года, было опубликовано "Происхождение видов". Сам Дарвин рассматривал эту книгу всего лишь как предварительный набросок, требующий подкрепления всевозможными подтверждающими доказательствами. Но это сразу же потрясло мир, и с тех пор на это всегда смотрели как на кардинальное утверждение теории. Как сказал об этом Хаксли, "Сомнительно, чтобы какая-либо отдельная книга, за исключением "Принципов", когда-либо совершала столь великую и быструю революцию в науке или производила столь глубокое впечатление на умы людей".[409] И из других источников можно было бы привести бесчисленные цитаты с тем же эффектом.

### III

Изучение сложности мотивов, побудивших такого человека, как Дарвин, и многих других, раскрыть и утвердить великое научное открытие, несмотря на яростное противодействие, чрезвычайно любопытно и полезно. Мне кажется, что главным элементом в этих мотивах, как у ученого, так и у художника, политика, актера, проповедника и спортсмена, является честолюбие. Как выражает это сам Дарвин: "Действие бессознательного отбора, что касается голубей, зависит от универсального принципа человеческой природы, а именно от нашего соперничества и желания превзойти наших соседей. Мы видим это в каждом мимолетном проявлении, даже в нашей одежде".[410] И еще: "Человек - соперник других людей; он наслаждается соперничеством, и это приводит к честолюбию, которое слишком легко

переходит в эгоизм".[411] Конкретная сущность честолюбия - это стремление к славе, к тому, чтобы чьи-то усилия, силы, достижения, эго признавались, оценивались, утверждались аплодисментами и похвалами своих собратьев. И, несомненно, это желание само по себе является естественным и даже похвальным, поскольку ведет к самым полезным и прочным достижениям. Недостаток заключается в том, что жажда славы настолько соблазнительна, настолько всепоглощающа, что соблазняет мужчин на странные и сомнительные методы ее получения. Слава или дурная слава так часто добывается низменными средствами, обманщиками и шарлатанами так часто могут вырвать ее награды и лавры у честного труда и даже у гения, божественно одаренного, что искренние и серьезные души вынуждены полностью отказаться от стремления к ней и настаивать, возможно, с искренним самообманом, что слава как мотив едва ли вообще входит в их борьбу. Это утверждение тем легче поддерживать, что очевидно, что в дело вступают другие мотивы, причем наиболее могущественные. Человеческая природа неугомонна, всегда активна и стремится что-то делать, почти не смотря ни на что. Работать, творить, достигать - значит жить. Ничто другое по праву не может называться жизнью. То, что ты совершил великие дела, то, что ты их совершаешь, заставляет тебя чувствовать, что ты существуешь, и почему ты должен расстраиваться из-за того, что о них думают другие люди? Тогда для ученого возникает истинное наслаждение от того, что он добавляет крупицу истины к медленному накоплению столетий, а для художника - великолепное чувство того, что он создал нечто прекрасное. Вы знаете это, вы чувствуете это: какое значение имеют другие? И еще есть богатая награда - верить или надеяться, что вы делаете хоть что-то, чтобы помочь или просветить своих ближних, осознают они это или нет. Мало что так успокаивает душу, как это. Так что были мыслители и были художники, которые говорили и, возможно, искренне думали: 'Меня не волнует, что кто-то другой вообще оценит мою работу. Итак, работа сделана, и я сделал это, и знаю, что я это сделал, и она продолжается, и достойна того, чтобы ее продолжили, какое значение имеет название или слава этого?' Многие говорили это, возможно, есть и такие, кто имел это в виду; но, конечно, мало кто пытался совершать великие дела и не жаждал человеческого признания их заслуг; а почему бы и нет?

Особенно интересно проследить игру этих мотивов у Дарвина, потому что здесь, как и везде, у него такая необычайная, интимная откровенность откровения. Любовь к славе была в нем сильна, и он знал это. Он рассказывает нам о своем детстве: "Некоторые другие воспоминания связаны с тщеславием, а именно: мысль о том, что люди восхищались мной, в одном случае за упорство, в другом — за смелость взобраться на низкое дерево, и, что еще более странно, сознание, как бы инстинктивное, того, что я тщеславен, и презрение к самому себе".[412] О своих ранних научных годах он пишет: "Я также стремился занять достойное место среди ученых "... есть ли более амбициозный или менее, чем большинство моих коллег, я не могу составить полноценное мнение." [413] в гораздо более поздний период он по-прежнему признает один и тот же раздражитель: 'без вас гораздо больше души, чем у меня (а я верю, что у вас есть), вы найдете медалью приятного мало стимулов; когда работа идет плохо, и одна ruminates, что все это суэта, это приятно иметь доказательство того, что другие думали что-то труды.' [414] и как прелестно это откровенное признание, что он не выносит славе увела от него: 'я всегда думал, что это очень возможно, что я мог бы предотвратить, но мне показалось, что у меня большой достаточно, душу не волнует; но я обнаружил, ошибаются и наказанным.' [415] конечно, в его тихой признательностью, что там было что-то врожденной власти едва ли может быть установлена вплоть до комплекса неполноценности, и врожденные силы не стремятся к

внешнему аплодисменты: 'оглядываясь назад, я делаю вывод, что там должно быть что-то во мне немного превосходит общий пробег молодежи, иначе упомянутых мужчин, которые гораздо старше меня и выше, в высшее положение, никогда бы не позволил мне общаться с ними.'[416]

Однако с течением лет и растущим ощущением тщетности и несправедливости популярной репутации Дарвин все больше и больше склонялся к тому, чтобы утратить к ней всякий интерес. Стремление к славе, признает он, является универсальным человеческим мотивом и естественным; но есть и другие, имеющие такое же, если не большее значение: "Вы несправедливы ко мне, когда думаете, что я работаю ради славы; я в определенной степени ценю это; но, если я знаю себя, я действую, руководствуясь своего рода инстинктом, пытаюсь докопаться до истины".[417] До самого конца ясно, что продажа его книг и публичное обсуждение его идей приятны ему, возможно, более приятны, чем он осознает. Но, конечно, нельзя сказать, что ни один человек чрезмерно жаждет похвал толпы, которая терпеливо ждет двадцать лет, прежде чем публично заявить о своих претензиях на это. И несомненно, что никогда, ни при каких обстоятельствах Дарвин не снизошел бы до того, чтобы ухаживать за ней низменными средствами или лживыми предложениями. Как он сам подводит итог всему этому, говоря о своей юности: 'Все это показывает, насколько я был честолюбив; но я думаю, что могу сказать правду, что в последующие годы, хотя я в высшей степени заботился об одобрении таких людей, как Лайелл и Хукер, которые были моими друзьями, я не очень заботился о широкой публике. Я не хочу сказать, что благоприятная рецензия или большая распродажа моих книг не доставили мне особого удовольствия, но удовольствие было мимолетным, и я уверен, что я ни на дюйм не свернул со своего пути, чтобы добиться славы'.[418] Здесь, конечно, нет крайнего или болезненного случая стремления к дурной славе.

#### IV

Таким образом, в 1859 году 'Происхождение видов' потрясло мир теорией эволюции путем естественного отбора, теорией, которая немедленно вызвала бурю, которая в некоторых своих аспектах бушует до сих пор. Иногда высказывается мнение, что в репутации и успехе Дарвина был элемент удачи, что, как и во многих открытиях, ему просто посчастливилось выразить и как бы кристаллизовать общие идеи, которые смутно присутствовали у многих и требовался только энергичный толкователь, чтобы придать им всеобщее признание. Несомненно, в этой точке зрения есть доля истины. И все же не следует забывать, в какой степени характер Дарвина, его такт и рассудительность, его настойчивая энергичная логика, прежде всего огромное трудолюбие и точность его исследований способствовали его окончательному триумфу. Чрезвычайно интересен его собственный комментарий по этому поводу о своевременности его теорий: 'Иногда говорили, что успех "Происхождения" доказал, "что тема витала в воздухе" или "что умы людей были подготовлены к этому"'. Я не думаю, что это строго верно, поскольку я время от времени обращался к нескольким натуралистам и ни разу не столкнулся ни с одним, кто, казалось, сомневался в постоянстве видов.... Раз или два я пытался объяснить способным людям, что я подразумеваю под Естественным отбором, но явно потерпел неудачу. Что, по моему мнению, было строго правдой, так это то, что бесчисленные хорошо наблюдаемые факты хранились в умах натуралистов, готовые занять подходящие им места, как только любая теория, которая могла бы их принять, была достаточно объяснена".[419]

В любом случае, эволюционная теория, когда она впервые была распространена, подверглась ожесточенным нападкам как со стороны ученых, так и со стороны других людей. Личные друзья

Дарвина и некоторые молодые люди, менее закоренелые в консерватизме, поддержали его, хотя и с большими или меньшими колебаниями и сдержанностью. Но ученые старой школы, воспитанные в устоявшихся традициях, в целом были настроены крайне неблагоприятно. Некоторые из них подняли вопрос о бесчисленных трудностях, о которых сам Дарвин был слишком хорошо осведомлен. Другие прибегли к обычному оружию оскорблений и сарказма. Оуэн в Англии и Агассис в Америке представляли, пожалуй, самые сильные консервативные взгляды. Для них дарвиновская система была всего лишь преходящей ересью, которая ни на минуту не могла противостоять множеству фактов и аргументов, которые они могли привести из своего обширного опыта и наблюдений за миром природы.

Враждебность религиозных кругов, вызванная "Происхождением" и усиленная более поздними книгами, особенно "Происхождением человека", была более яростной и менее разборчивой, чем у ученых. Возможно, кульминации это достигло в дикой перепалке, в которой епископ Оксфордский спросил Хаксли, "был ли он в родстве со стороны своего деда или бабушки с обезьяной", и Хаксли ответил, что у человека нет причин стыдиться того, что его дедом была обезьяна, но если бы ему и было стыдно, то это было бы за предка, "который, не довольствуясь сомнительным успехом в своей сфере деятельности, погружается в научные вопросы, с которыми он на самом деле не знаком, только для того, чтобы затемнить их бесцельной риторикой и отвлечь внимание". отвлекает внимание своих слушателей от реальной сути вопроса посредством красноречивых отступлений и умелых апелляций к религиозным предрассудкам".[420]

Такого рода вещи ни в коем случае не были приятны Дарвину, и он неоднократно упоминает о боли и огорчении, которые это ему причинило. Например: 'Я только что прочитал "Эдинбург", который, без сомнения, написан ...". Он чрезвычайно злобный, умный и, боюсь, будет очень разрушительным. Он ужасно суров к лекции Хаксли и очень зол на Хукера. Так что мы втроем *насладились* этим вместе. Не то чтобы мне это действительно понравилось, потому что на одну ночь мне стало не по себе, но сегодня я вполне справился с этим. Требуется много изучения, чтобы оценить всю горькую злобу многих замечаний в мой адрес; на самом деле, я не все открыл сам.... Больно, когда тебя ненавидят в той сильной степени, в какой ... ненавидит меня".[421]

Что нас интересует, так это позиция Дарвина во всех аспектах борьбы, и мы повсюду находим проявленные и проиллюстрированные ментальные и духовные качества, которые мы в общих чертах проанализировали в предыдущих главах. Каким бы долгим и жестоким ни был спор, этот большой, спокойный нрав нельзя было ни исказить, ни озлобить, ни существенно поколебать его добрую безмятежность.

И первое - это искренность, готовность признавать ошибки и просчеты, а также признавать силу и значимость точки зрения и аргументов оппонента. Сам Дарвин с юмором жалуется на слабость в этом отношении: 'Боже мой, разве этот случай недостаточно сложен и без того, чтобы его, как я должен думать, ложно усложнить? Я считаю, что это моя собственная вина, моя чертова прямота".[422] Но, проклятый ты или нет, это качество, достойное восхищения. Как превосходно выразился профессор Осборн: 'Если бы он был жив, ... он был бы на передовой линии расследования, вооруженный несравненным набором фактов, экспериментальной проверкой и, что не в последнюю очередь, несравненной откровенностью и доброй волей. Это

наследие благородного метода едва ли менее ценно, чем бессмертное содержание самого “Происхождения видов””.[\[423\]](#)

Это язык поклонника. Но любопытно посмотреть, как обстоят дела с критиками и оппонентами

- К какому-то типу мужчин

Их милости служат им только как врагам.

Таким образом, даже Александр Агассис, который был гораздо более благосклонно расположен к эволюции и Дарвину, чем его отец, откровенно замечает по этому поводу: ‘Я был несколько удивлен, что в жизни Дарвина элемент желания успеха его дела был выдвинут на столь видное место. Единственное, на что всегда претендовали друзья Дарвина, - это на его абсолютную беспристрастность к своему собственному делу. Конечно, его переписка с Хукером, Хаксли и Греем не свидетельствует об этом”.[\[424\]](#) И другие, явно более враждебные, гораздо более суровые, заявляющие, что страстное стремление Дарвина доказать свою точку зрения было совершенно несовместимо с какой-либо реальной справедливостью или широтой взглядов. Но, несомненно, здесь есть недопонимание. Беспристрастным может быть любой, кто совершенно безразличен, и когда вам все равно, какая сторона победит, нет заслуги в том, чтобы видеть справедливость обеих. Очарование и интерес Дарвина заключаются именно в том, что он был предан своей собственной теории, что доказать ее было делом всей его жизни, и в то же время он мог и действительно искал все факты против нее и даже перешел все границы, придавая вес возражениям, которые могли быть ему противопоставлены.

И поскольку искренность была тем более заметна из-за энтузиазма, то она была заметна и потому, что не проистекала из холодного темперамента или неспособности к естественному человеческому гневу и возмущению. Дарвин преувеличивает, возможно, излишне, свою вспыльчивость в юности; и в старости, хотя его самообладание и терпение взяли верх, все же искры летели, когда несправедливые и неразумные нападки раздражали его. Так, он восклицает по отношению к Оуэну: “Вы бы рассмеялись, если бы увидели, какое негодование вызвало у меня подлое поведение Оуэна по отношению к Э. Колумби. Я не мог заснуть до трех часов ночи”.[\[425\]](#) И еще: ‘Если Оуэн написал статью “Окен”, а французы работают над архетипом ..., он никогда не совершал более низкого поступка.... Вы такой хороший христианин, что вряд ли поймете, как я смеюсь над этой подлостью”.[\[426\]](#) Когда оппонент, не довольствуясь рациональными аргументами, прибегает к личным нападкам: ‘Меня не волнуют его скучные, неизменные оскорбления в мой адрес и странное введение в заблуждение. Но на стр. 244 он фактически сомневается в моих обдуманных словах, и это поступок человека, в котором нет души джентльмена”.[\[427\]](#)

Но, какими бы моментами негодование ни брало над ним верх, Дарвин, как мы уже видели, редко позволял втянуть себя во что-либо, приближающееся к полемике. Разумный спор с теми, у кого были разумные возражения, мог быть полезным, но какой смысл спорить с теми, чьей целью было не убедить, а одержать верх? “Я так ненавижу споры, - кричит он, - и чувствую, что буду вести их так плохо”.[\[428\]](#) И в другом месте он пишет более обобщенно: “Все, что я думаю, это то, что вы вызовете гнев, и этот гнев настолько полностью ослепит каждого, что у ваших аргументов не будет шансов повлиять на тех, кто уже настроен против наших взглядов”.[\[349\]](#)

При таком общем отношении интересно обнаружить, что Дарвин в одном из своих немногих искушений резко ответить сдерживался великим борцом Хаксли. Дарвин представляет

черновик четкого письма, в котором просит Хаксли критиковать, и последний предлагает умолчания: 'Хотя Томсон заслужил это и даже больше, я подумал, что было бы лучше воздержаться. Если я говорю дикие вещи, это всего лишь "в стиле милой Фанни"; но если вы это сделаете, это вряд ли будет забыто". [350] Хаксли и другие друзья также сдерживали Дарвина, возможно, самом досадном из его противоречивых дел - в споре с Сэмюэлем Батлером по поводу перевода книги Краузе "Жизнь Эразма Дарвина". Нам нет необходимости пытаться распутать сложный клубок этого спора, поскольку мы можем начать с уверенного предположения, что оба человека были совершенно искренни в своих добрых намерениях. Любопытные могут прочитать всю историю из "Жизни Батлера" Генри Фестинга Джонса, и приятно обнаружить, что биографы Батлера и Дарвина смогли собраться вместе и, сравнив неопечатанные документы, разрешить проблему к их взаимному удовлетворению.

Со своими коллегами по работе, теми, кто следовал тем же направлениям исследований с той же общей точки зрения, отношения Дарвина были самыми сердечными и сочувственными. Не было ни ревности, ни соперничества, ни чрезмерной чувствительности. Мы действительно видели, что в его обращении со своими предшественниками, особенно с Ламарком, был намек на то, что у любого другого человека можно было бы принять за ревнивое отношение. Но все дела с Уоллесом благородно опровергают возможность любого подобного предположения. И в любое время и при любых обстоятельствах Дарвин был готов признать и провозгласить заслуги и достижения тех, кто трудился рядом с ним. Когда возникал какой-либо вопрос о приоритете какой-либо идеи или открытия, он отказывался излишне самоутверждаться: 'У меня всегда было стойкое ощущение, что никто не может лучше отстаивать свой собственный приоритет. Я не могу сказать, что я настолько безразличен к предмету, насколько следовало бы, но в результате можно ничего не предпринимать". [351] Когда ученый, известный или неизвестный, обращался к нему за помощью или предложением, он всегда был готов оказать это, насколько это было в его силах. Прежде всего, он был благодарен, почти чрезмерно, за любую помощь, которая ему оказывалась, и его благодарность друзьям за поддержку и отстаивание его взглядов трогательна в своей наивной серьезности. Обращаясь к Хаксли, Хукеру, Лайеллу, Грею, Геккелю и дюжине других, он с энтузиазмом признает их усилия и их вклад, и, как указывает Хаксли, он был готов выразить почти такую же благодарность за услуги, которые сами по себе казались абсурдно незначительными.

Ибо он обладал исключительным смирением, наиболее заметным и привлекательным в человеке такой выдающейся силы и достижений. "Ум, отличающийся могучей скромностью и сильной мягкостью", - яркая характеристика Хаксли. [278] Снова и снова он выражает недоверие к своим силам, чувство неадекватности и некомпетентности, острое сознание ограниченности. Постоянно повторяются такие фразы, как следующая из книги об орхидеях: "Любому, кто обладает большими знаниями, чем я, было бы интересно проследить градации между несколькими видами и группами видов в этом великом и тесно связанном отряде". [279] Иногда выражение смирения является прямым. "Любой человек с обычными способностями, если бы у него было достаточно *терпения* и времени, мог бы написать мою книгу". [280] Иногда встречается юмористическое утверждение обратного, которое не менее важно: 'Я бы скорее подумал, что у меня были хорошие шансы стать самым эгоистичным человеком в Европе. Какое гордое превосходство!" [281] Иногда исповедание смирения достигает такой крайности, как в фразе об Оуэне: "Лондонцы говорят, что он обезумел от зависти, потому что заговорили о моей книге; какой странный человек, завидующий такому натуралисту, как я, неизмеримо ниже его!" [282], что критики, склонные придирались, усмотрели в этом что-то напускное. Всегда

подвергать себя подобным обвинениям - в природе глубочайшего смирения; но, конечно, никто не может внимательно изучать Дарвина, быть знакомым с его работой во всех ее аспектах и не считать его одним из самых искренне смиренных духов, которые когда-либо жили.

## V

Это смирение и ощущение собственной некомпетентности заставили Дарвина остро ощутить трудности, связанные с его великим предприятием, и дали ему такое ясное представление о них, что временами он чувствовал себя вообще неспособным их решить. Как он говорит в шестой главе 'Происхождения': 'Задолго до того, как читатель доберется до этой части моей работы, перед ним возникнет множество трудностей. Некоторые из них настолько серьезны, что по сей день я едва ли могу размышлять о них без того, чтобы не быть в некоторой степени потрясенным'.[\[283\]](#)

Возьмем одну из самых поразительных, если не самую решающую трудность, которая с самого начала озадачивала Дарвина и была превращена его противниками в плодотворный текст для критики, - развитие глаза. Следовало ли предполагать, что столь нежный, столь сложный и столь высоко адаптированный орган мог возникнуть в результате простой случайной вариации, происходящей по наследству и постепенного выживания наиболее приспособленных? И Дарвин исследовал, сравнивал и размышлял, пока не был готов изложить свою позицию следующим образом: "Разум подсказывает мне, что если можно доказать существование многочисленных градаций от простого и несовершенного глаза к одному сложному и совершенному, причем каждая степень полезна для своего обладателя, что, несомненно, так и есть; если, кроме того, глаз постоянно меняется и вариации передаются по наследству, что также несомненно имеет место; и если такие вариации должны быть полезны любому животному в изменяющихся условиях жизни, то трудность поверить, что совершенный и сложный глаз мог быть сформирован естественным отбором, хотя и непреодолима для нашего воображения". , не следует считать подрывающим теорию".[\[284\]](#)

Иногда трудности кажутся незначительными сами по себе, однако их значение таково, что делает их чрезвычайно важными. Например, ужасной проблемой было то, как полезный институт бесполой насекомых мог развиваться по наследству. "Сначала он показался мне непреодолимым и фактически фатальным для всей теории".[\[285\]](#) Изучение и наблюдение сводят его на нет; однако от него избавляются откровенным замечанием: "Я должен признаться, что при всей моей вере в естественный отбор я никогда бы не предположил, что этот принцип мог бы оказаться эффективным в такой высокой степени, если бы случай с этими бесполой насекомыми не привел меня к такому выводу".[\[286\]](#) Или вот окраска павлиньего хвоста, которую приходится объяснять крайней борьбой логических теорий. изобретательность. И снова, по сравнению с этими, казалось бы, незначительными препятствиями, возникают серьезные вопросы, связанные с сущностной структурой самой теории. Существуют промежутки, разрывы, недостающие звенья не только между человеком и его обезьяноподобными предками, но и завершающие все градации между всеми существующими формами развития. Много часов, а можно сказать, и много лет тревожных раздумий посвятил Дарвин этому вопросу. Он мог ответить на это только таким энергичным комментарием, который он делает после своего длительного изучения орхидей: "У сравнительно немногих орхидей, описанных в этом томе, было описано так много и с такими четко обозначенными градами в структуре ростеллума ... что мы вполне можем поверить, что если бы мы могли увидеть каждую орхидею,

когда-либо существовавшую в мире, мы нашли бы все пробелы в существующей цепочке и каждый пробел во многих утраченных цепочках, заполненных серией простых переходов".[287] И были такие обширные проблемы, как половой отбор и другие. пангенезис, который мы обсуждали в предыдущей главе, и там был даже центральный элемент самого естественного отбора, который в мрачные моменты казался всего лишь слабым средством поддержания всего мира: "Если я буду постоянно думать о полудюжине структур, от которых мы в настоящее время не видим пользы, я смогу убедить себя, что естественный отбор имеет совершенно второстепенное значение".[288]

Интересным аспектом этой проблемы, как и других вещей, является способ Дарвина встретиться с ней лицом к лицу. Несомненно, было волнение, стимул, радость от решения сложных проблем и их преодоления. Но было также всепроникающее осознание того, в чем заключались трудности, и некоторые даже считали, что это было почти слишком всепроникающее желание изо всех сил стараться справиться с ними. Как выразился Хаксли: "Тому, кто желает напасть на мистера Дарвина, стоит только прочитать его работы с желанием заметить не их достоинства, а их недостатки, и он обнаружит, что готов высказать больше негативных предположений, чем, вероятно, когда-либо могло бы возникнуть из-за его собственной проницательности, без самоотверженной помощи мистера Дарвина".[289]

И в преодолении трудностей всегда есть понимание опасности чрезмерной изобретательности, тонких возможностей предательства со стороны разума, который всегда с неистовым рвением трудится, чтобы достичь своих предвзятых целей. "Бог свидетель, я никогда не уклонялся от трудностей", - сказал Дарвин.[290] Но опасность заключается не только в уклонении, но и в растворяющей, преобразующей силе предрассудков и энтузиазма. И здесь Дарвин снова пытался быть всегда настороже: "Я довольно яростен в этом вопросе, и поэтому, если уже не ошибаюсь, то почти уверен, что стану таким".[291] Его не введут в заблуждение, не одурачат и не предадут: "Читая дальше, я чувствовал себя немало ошарашенным и думал про себя, что всякий раз, когда я касаюсь этой темы, мне придется быть жестоким по отношению к самому себе".[292]

Но вы никогда не можете быть уверены, что были достаточно свирепы, и бывают моменты, когда неожиданные препятствия заставляют вас усомниться в своей теории, в своем методе, в своей способности рассуждать. "Если бы можно было доказать, что какая-либо часть структуры любого одного вида была сформирована исключительно для блага другого вида, это опровергло бы мою теорию".[293] И кто знает, что это невозможно доказать? После месяцев изучения четкое изложение противоположных фактов, на данный момент, кажется, перечеркивает все. "Вы излагаете все факты так ясно и полно, что невозможно удержаться от размышлений на эту тему; но это приводит меня в отчаяние, потому что я не могу проглотить весь ваш континент; и неспособность сделать это, в моих глазах, дает многочисленным креационистам ужасный триумф".[294] И, обладая своим необычайным даром прямого самораскрытия, Дарвин резюмирует состояние ума в одной яркой фразе: "Ваше письмо на самом деле повергло меня в панику".[295]

Таким образом, наступают времена уныния и отвращения. Человек начинает чувствовать, что он сильно переоценил свою работу и свои силы. Кто-то придумывает приятные маленькие язвительные замечания для рецензий, такие как "Мистер Кажется, что определенный успех вскружил голову Дарвину, и он считает, что самые пустяковые наблюдения заслуживают

публикации". "[296] Человек приходит к выводу, что все годы огромного труда не дали никаких значимых результатов и что лучше бы ему выращивать свою капусту здоровым и спокойным образом: "В настоящее время меня тошнит от всего, и если бы я мог занять свое время и забыть о своих ежедневных неудобствах или, скорее, страданиях, я бы никогда больше не опубликовал ни слова". [297] Такие периоды депрессии у людей с Дарвин особенно интересен, потому что он ни в коей мере не отличался меланхолическим темпераментом и, несмотря на свою нервную слабость, не был склонен к раздражительному или болезненному пессимизму. И все же, даже при всем его мужестве и терпении, при всех его прошлых трудах и всех его победах, ближе к концу были моменты, когда могила казалась привлекательной просто из-за своей необъятности покоя, без какой-либо определенной перспективы на что-либо дальнейшее: "Я довольно подавлен собой, и мои неприятности совершенно противоположны вашим, потому что безделье - это настоящее страдание для меня, как я обнаруживаю здесь, поскольку я не могу забыть о своем дискомфорте ни на час. В моем возрасте у меня нет ни сердца, ни сил начинать какое-либо расследование, длящееся годами, а это единственное, что мне нравится; и у меня нет мелкой работы, которую я мог бы выполнять. Так что я должен с нетерпением ждать Даун-кладбища как самого милого места на земле". [372]

## VI

Распознавание и накопление трудностей, естественно, влекли за собой модификацию взглядов. Действительно, любая по-настоящему жизненная теория обязана развиваться и видоизменяться в соответствии с жизненной силой человека, который ее придерживается. И Дарвин был так же жизненно важен, как и любой другой человек, а его теории так же жизненно важны, как и любые другие. Ни один человек никогда так полно, как он, не осознавал желательности, необходимости внесения изменений: "Я считаю абсолютно уверенным, что очень многое в оригинале окажется вздором; но я ожидаю и надеюсь, что рамки выдержат". [373] Он сокрушается по поводу бремени и трудностей постоянного исправления: "Я огорчен, услышав, что вы считаете, что я должен работать с примечаниями в тексте; но вы настолько лучший судья, что я подчинюсь". [374] Снова: "Прошло всего около двух лет с момента последнего издания книги". Происхождение, и я с отвращением обнаруживаю, как много мне приходится изменять и как много я должен добавить". [375] Тем не менее, как показывают последующие издания "Происхождения" и других книг, он продолжал добавлять, изменять и исправлять до самого конца. Тщательный, продуманный и далеко идущий характер этих изменений хорошо виден в заключительном предложении одиннадцатой главы "Происхождения", которое в первом издании гласило: "старые формы были вытеснены новыми и улучшенными формами жизни, созданными законами изменчивости, все еще действующими вокруг нас и сохраняемыми естественным отбором", а позже: "старые формы были вытеснены новыми и улучшенными формами жизни, продуктами изменчивости и выживания наиболее приспособленных".

Помимо пересмотра деталей, конечно, всегда существовала тенденция к более крупным модификациям общей теории. Каким бы изобретательным и далеко идущим ни был естественный отбор, связанные с ним трудности были настолько огромны, что лояльность даже его первооткрывателя временами неизбежно колебалась, или, возможно, правильнее было бы сказать, его энтузиазм подогревался и охлаждался. Более того, естественный отбор зависел от вариации, а вариации для Дарвина всегда были необъяснимой загадкой, для которой не могло быть найдено ни одного решения, или их было слишком много. Несмотря на то, что Дарвин не

был склонен принимать или даже уважать своих предшественников, Бюффона и Ламарка, в последующие годы, когда давление на естественный отбор стало более ожесточенным, он, казалось, больше обращался к адаптивным решениям этих предшественников. Как выразился профессор Морган: "Несмотря на презрение, с которым Дарвин относился к теории Ламарка, он сам, как мы видели, часто использовал принцип наследования приобретенных признаков и даже использовал те же иллюстрации, которые приводил Ламарк".[376] И профессор Осборн замечательно указывает на постепенный процесс изменения, произошедшего в отношении Дарвина: "Начав с некоторого склонения к теориям модификации Бюффона и Ламарка, он пришел к почти исключительной вере в свою собственную теорию, а затем постепенно склонялся к принятию Теории Бюффона, а затем и Ламарка, пока в своих самых зрелых работах он не охватил тройственную причинно-следственную связь в происхождении видов".[377] Тенденция к Ламарку хорошо показана в отрывке из письма Гальтону, написанного в 1875 году: "Если это подразумевает, что многие части тела не изменяются в результате использования и неиспользования в течение жизни индивида, я сильно расхожусь с вами, поскольку с каждым годом я все больше и больше приписываю такому влиянию".[378] В то же время, к тому, что многие части тела не изменяются в результате использования и неиспользования в течение жизни индивида. до самого конца естественный отбор оставался в сознании Дарвина не только квинтэссенцией его теории, но и основным фактором, с помощью которого была достигнута модификация. В "Происхождении человека" он объясняет и в какой-то мере оправдывает любое ранее неоправданное настаивание на нем, но также подтверждает свою твердую веру в его великую, если не всемогущую эффективность: "Если я допустил ошибку, придав естественному отбору огромную силу, чего я очень далек от признания, или преувеличил его силу, что само по себе вероятно, я, по крайней мере, надеюсь, оказал хорошую услугу, помогая свергнуть догму об отдельных творениях".[379]

## VII

Итак, на протяжении шестидесятых и семидесятых годов битва за эволюцию весело продолжалась, и перед смертью Дарвина в 1881 году стало очевидно, что научный мир в значительной степени изменился, и еще более очевидно, что теория прочно овладела массовым сознанием. Даже в шестидесятые Чарльз Кингсли мог написать Ф. Д. Морису: "Состояние научного разума в высшей степени любопытно; Дарвин повсюду побеждает и врывается, подобно наводнению, одной лишь силой истины и фактов".[380] Сам Дарвин не был агрессивным бойцом, хотя, возможно, его спокойное, настойчивое, логичное изложение фактов шло дальше борьбы. Но у него были боевые последователи, и они продвигали его дело с энергией и догматизмом, которые он сам вряд ли мог бы проявить. В Англии Спенсер дал теории метафизическую и философскую санкцию и поддержку, которой Дарвин не был способен оказать, а блестящее, пылкое красноречие Хаксли парализовало оппонентов острыми аргументами и язвительными насмешками. В Америке Эйза Грей, великий ботаник, с самого начала был обращенным и очень полезным учеником, и его помощь была особенно желанна Дарвину, потому что ревностная ортодоксальность Грея была полезна для примирения многих, чьи предрассудки, естественно, были бы самыми неблагоприятными. Дарвин неоднократно говорил о том, что Грей лучше понимал его идеи и излагал их эффективнее, чем кто-либо другой. Джон Фiske также был ценным сторонником более философской стороны. В Германии Вайсман и Геккель были самыми выдающимися апостолами и чрезвычайно эффективными, хотя,

обладая безупречной тевтонской логикой, они были готовы доводить выводы до таких пределов, которые не всегда были приемлемы для самого Дарвина.

Степень общественного интереса, вероятно, лучше всего проявляется в широкой продаже книг Дарвина. 'Происхождение видов' сразу же приобрело успех. Она выдерживала издание за изданием, всего при жизни Дарвина их было шесть, и была переведена на множество иностранных языков. Более поздние книги, даже более технического характера, продавались как популярная художественная литература, а последняя, посвященная, казалось бы, непривлекательной теме дождевых червей, нашла множество читателей повсюду.

Дарвин, конечно, вполне сознавал свой растущий триумф. Даже враждебность, озлобленность, отвращение, какими бы болезненными они ни были, свидетельствовали о силе и достижениях. И он не был бы человеком, если бы не наслаждался разнообразными свидетельствами уважения и восхищения, которые приходили к нему отовсюду. Его естественное недоверие к самому себе было настолько велико, что ему было трудно поверить в успех, даже когда он пришел, и еще до того, как он пришел, он осуждал любые попытки обесценить его:

"Пожалуйста, никому не говорите, что я думал, что моя книга о видах будет довольно популярной и будет иметь довольно прибыльную продажу (что было вершиной моих амбиций), потому что, если она потерпит полный провал, это сделает меня еще более смешным".<sup>[381]</sup> И все же, как бы человек ни боялся и не доверял самому себе, прийти на большое научное собрание и заставить всех присутствующих восхищаться оказать кому-то честь было, бесспорно, приятно. И со своей неизменной откровенностью Дарвин признает, что похвала приятна, и ее не может быть слишком много, при условии, что человек чувствует, что она в какой-то мере заслужена: "Вы сделали мне превосходный комплимент, и, как я только что сказал своей жене, я думаю, мои друзья должны понимать, что мне нравится похвала, раз они дают мне ее такими щедрыми дозами".<sup>[382]</sup> Также, с не меньшей откровенностью, он ясно дает понять в своем автобиографическом очерке, что понимает, насколько велик был успех и что он подразумевал определенную перспективу постоянства: "Мои книги продавались в основном в Англии, были переведены на многие языки и выдержали несколько изданий в зарубежных странах. Я слышал, что успех работы за границей - лучшая проверка ее непреходящей ценности. Я сомневаюсь, что этому вообще можно доверять; но, судя по этому стандарту, мое имя должно просуществовать несколько лет".<sup>[383]</sup> Когда он умер, его, несомненно, считали одним из самых первых, если не самым первым, среди ученых своего времени.

И столь же бесспорно, что с тех пор его репутация скорее возросла, чем уменьшилась. "До и после Дарвина" всегда будет *ante et post urbem conditam* биологической истории", - говорит профессор Осборн.<sup>[384]</sup> Естественно, теории Дарвина подвергались критике и нападкам и в значительной степени модифицировались более поздними исследованиями и открытиями. Для самого Дарвина вариация как основа естественного отбора была трудным, необъяснимым моментом, и эксперименты Менделя, теория мутаций Де Фриза и многие другие направления исследований представили тему вариации в новом свете. Естественный отбор был и будет предметом споров как относительно его действия, так и относительно степени его эффективности. Неподражаемая осторожность Дарвина открыла путь для всех этих исследований, на что так хорошо указывает превосходная фраза профессора Уайтхеда: "Труды самого Дарвина на все времена являются образцом отказа выходить за рамки прямых доказательств и тщательного сохранения каждой возможной гипотезы".<sup>[385]</sup>

Тем не менее, после пятидесяти лет дискуссий и споров основные положения Дарвина отстаиваются с необычайным упорством. В самом последнем слове по этому вопросу профессор Паркер говорит: "К чести Чарльза Дарвина и группы его способных сторонников, научный мир был, наконец, вынужден принять принцип происхождения с модификацией и естественным отбором в качестве средства, с помощью которого это было достигнуто".[386] Профессор Конклин утверждает, что "Единственным научным объяснением такого приспособления или приспособленности является дарвиновский принцип естественного отбора подходящих и исключения непригодных, и красноречивым свидетельством величия Дарвина является то, что все больше и больше этот великий принцип признается единственным механистическим объяснением". адаптации".[387] И профессор Осборн столь же категоричен: "По моему мнению, естественный отбор - единственная причина эволюции, которая до сих пор была открыта и продемонстрирована".[388] Хотя с более абстрактной философской точки зрения выразительные слова, недавно написанные профессором Ральфом Бартоном Перри, вполне подтверждают общую дарвиновскую позицию: 'На самом деле между человеком и животным нет пропасти. Мы не можем отказать последнему в чувствительности, памяти и интеллекте. Факты, доказывающие это, заполнили бы тома.... Животное испытывает чувства материнской любви, привязанности и преданности. Оно отличается от нас только степенью; его "душа" для нас то же, что бутон для цветка и плода".[234]

Но, независимо от любого согласия или несогласия с теориями Дарвина, поразительным является единодушие ученых в восхвалении этого человека и признание его усилий, метода и жизни образцом для всех научных работников. Редко бывает, чтобы похвала была такой беспримесной, такой настойчивой и такой полной. В этой связи интересно сравнить природу славы поэта, например, Шекспира, с славой писателя-ученого. Шекспира не только помнят, его читают. Каждое последующее поколение берется за его пьесы для себя, читает в них свои собственные страсти и переживания и таким образом делает их вечным достоянием человечества, совершенно независимым от их автора. Работы Дарвина или любого другого ученого не имеют такой непреходящей ценности для реального прочтения. Любознательные изучают их в поисках исторических записей. Но для массы человечества и даже ученых большая часть из них стала всеобщим достоянием и может быть прочитана в любом учебнике, а остальные устарели и не представляют никакой ценности, за исключением того, что они значили в прежние времена. Имя ученого становится оторванным от работы, хотя он остается великим, потому что он это сделал. И все же это имя, несмотря на такую отстраненность, возможно, тем более из-за того, что оно отстраненное, сияет подобно звезде столетие за столетием.

## ГЛАВА IV

### ДАРВИН: НЕУДАЧНИК

Я

В разное время Дарвин отмечал постепенно растущее поглощение своей жизни научными занятиями и, как следствие, атрофию других интеллектуальных и духовных интересов, которые в прежние времена много значили для него. Другими словами, он иллюстрировал любимый текст

Сент-Бева: "Все стремления терпят неудачу, кроме стремления понять". Иногда он выражает эту потерю лаконично и энергично: "Это проклятое зло для человека - быть настолько поглощенным каким-либо предметом, как я поглощен своим".[309] Или еще: "Ужасно скучно чувствовать, что я постоянно чувствую, что я увядший лист для любого предмета, кроме науки. Иногда это заставляет меня ненавидеть науку, хотя, видит Бог, я должен быть благодарен за такой постоянный интерес, который заставляет меня каждый день на несколько часов забывать о моем проклятом желудке".[310] И в другом месте он анализирует это с более изощренным сожалением и любопытством: "Мой разум, кажется, превратился в своего рода машину для вытачивания общих законов из больших массивов фактов, но почему это должно было вызвать атрофию только той части мозга, от которой зависят высшие вкусы, я не могу понять. Человек с умом, более высокоорганизованным или лучше устроенным, чем мой, я полагаю, не пострадал бы таким образом; и если бы мне пришлось жить своей жизнью снова, я бы взял за правило читать стихи или слушать музыку по крайней мере раз в неделю; ибо, возможно, части моего мозга, которые сейчас атрофированы, таким образом поддерживались бы активными благодаря их использованию".[311]



## ИССЛЕДОВАНИЕ В ДАУНЕ

Недавно у меня была возможность провести несколько расширенное исследование замечательного современника Дарвина, евангелиста Д. Л. Муди, и я был поражен этим сходством в отсутствии общего интереса к ним обоим. Дарвин, конечно, был гораздо более образованным человеком, чем Муди. Но в обоих случаях сама их величина и мощь делали единую всепоглощающую страсть — настолько разную в этих двух случаях, насколько можно себе представить, — затмевающей и вытесняющей разнообразные отвлекающие факторы и

желания, которые облегчают и стимулируют любопытство или леность более обычных людей. Что касается Дарвина, то с естественным для воспоминаний преувеличением он, возможно, несколько переоценил как первоначальную способность, так и более позднюю атрофию. Но чрезвычайно поучительно проследить его отношение к различным занятиям и опыту жизни за пределами науки.

Возьмем сначала внешние интересы человека, отличные от чисто социальных. В более крупных исторических событиях Дарвин, по-видимому, не был особенно хорошо осведомлен или уделял им большое внимание. Конечно, полагаясь на его тома опубликованных писем в качестве доказательства, мы должны помнить, что эти тома, естественно, редактировались в основном с целью научных занятий, и поэтому следует ожидать, что другие интересы должны быть менее заметны. И все же свидетельства, как положительные, так и отрицательные, о неважности этих интересов весьма убедительны. Что касается этого вопроса истории, то сам Дарвин говорит нам, что в юности он читал историков. Он даже настаивает на том, что, когда он лишился эстетических удовольствий, 'книги по истории, биографии и путешествия ... и эссе на самые разные темы интересуют меня так же сильно, как и прежде'.<sup>[312]</sup> О своей прежней жизни он пишет, что "Я часами сидел за чтением исторических пьес Шекспира, обычно у старого окна в толстых стенах школы".<sup>[313]</sup> Возможно, на этой шекспировской основе он сохраняет, как и многие другие английские условности, уважение к рангу, хотя более прирожденного демократа никогда не существовало, и он мягко подшучивает над собой за свой снобизм: "У меня есть шекспировский опыт". истинный англичанин с почтением относится к рангу, и поэтому ему нравилось слушать о королевской принцессе".<sup>[314]</sup>

Тем не менее, из его писем и книг складывается впечатление, что великие течения развития в Европе и во всем мире были ему неизвестны. С неизменной откровенностью он признает это: "Я полагаю, что ваша критика вполне справедлива по поводу моего несовершенного исторического духа, поскольку я осознаю свое невежество в этой области".<sup>[315]</sup> И проницательный и сочувствующий аналитик его работы указывает, что она в некоторой степени пострадала от этого недостатка. Тенденция распространять эволюционные аналогии с индивида на общество была отчасти ошибкой Дарвина, говорит этот критик, из-за того, что он "приступил к обсуждению социальных и моральных вопросов в "Происхождении человека"; вопросов, относительно которых он был осведомлен немногим лучше, чем любой другой неспециалист".<sup>[316]</sup>

В современной политике не следовало ожидать, что Дарвин должен иметь какое-то непосредственное отношение к делу. Трудно представить себе человека, менее склонного к выбору активной политической карьеры или в целом менее приспособленного к ней, хотя такт, позволивший ему успешно вести дела со своими коллегами-учеными, несомненно, был бы полезен в более практических сферах. Время от времени мелькают упоминания о том, что он принимал какое-то участие в местных делах, и, по крайней мере, какое-то время он выполнял судебные обязанности, которые у нас так часто ассоциируются с английским сельским сквайром: "Я присутствовал на суде в понедельник и был задержан при рассмотрении некоторых неприятных дел на полтора часа дольше обычного, и вернулся домой совершенно разбитым и не могу справиться с силами".<sup>[317]</sup>

Дарвин не был бы англичанином, если бы у него не было каких-либо политических взглядов. Он не мог притворяться, что избегает традиции, столь прочно укоренившейся в крови расы. Его

действительно возмущает предположение, что политика важнее науки: 'Видели ли вы некоторое время назад в "Таймс" насмешку по поводу того, что политика была несравненно интереснее науки даже ученым?... Джеффри, насколько я помню, в одном из своих писем говорит, что произнести эффектную речь в парламенте - гораздо более грандиозное дело, чем написать самую грандиозную историю. Все это кажется мне жалким недальновидным взглядом".[318] Но он был воспитан вигом, либералом, а предрассудки вигов присущи его системе. Это было верно в первые дни плавания на "Бигле": "Капитан делает все, что в его силах, чтобы помочь мне, и мы очень хорошо ладим, но я благодарю судьбу, что он не сделал меня отступником от принципов вигов".[319] И это осталось верным до старости. Отвечая на вопросник в 1873 году, он описал себя как "Либерала или радикала",[320] но радикализм был очень консервативным и английского порядка.

Партийность вигов даже вполне нормальным образом проявляется в ненависти к тори, и по этому поводу терпимый и добрый ученый высказывается с довольно забавной горечью: "Слава Богу, бессердечные тори, у которых, как говаривал Дж. Макинтош, нет энтузиазма, кроме как вопреки энтузиазму, в настоящее время закончили свою гонку".[321] Но эти вспышки не следует принимать всерьез.

Время от времени проявляются проблески интереса к нынешним общественным деятелям и текущим общественным делам. Лорд Брайс приводит поразительный отчет о визите, который Гладстон нанес великому мыслителю. Комментарий Дарвина гласил: 'казалось, он совершенно не осознавал, что является великим человеком, и разговаривал с нами так, как если бы он был обычным человеком, таким же, как мы'. На что Брайс замечает: 'Мы с другом, который был со мной, не могли не посмотреть друг на друга и не обменяться тайными улыбками. Мы испытывали к Дарвину те же чувства, что и он к Гладстону".[322] В начале франко-германской войны симпатии Дарвина, как и симпатии многих англичан, были на стороне Германии: "Я еще не встретил ни одной души в Англии, которая не радовалась бы великолепному триумфу Германии над Францией: это самое справедливое возмездие этой тщеславной, любящей войну нации".[323] Но партийно-политическая борьба, развернувшаяся вокруг него, мало кого волновала. внимание и немного рвения.

Однако было одно политическое событие того времени, которое вызвало живое сочувствие Дарвина и его пространные комментарии, и это была Гражданская война в Америке. Как хорошо известно, мнения англичан по этому вопросу сильно разделились, и предрассудки высшего класса, во всяком случае, наиболее консервативных, были в пользу Юга. Хотя Дарвин отнюдь не был уверен в победе Севера, он с самого начала был твердо на этой стороне, и его многочисленные письма Эйсе Грею показывают, насколько решительными были его чувства.

Это чувство было основано не на абстрактных политических и конституционных соображениях, которые привлекали американцев, а на глубоко укоренившейся горькой антипатии Дарвина к системе рабства в любой форме. Когда он был в Южной Америке с Биглем, у него было много возможностей понаблюдать за работой человеческого рабства, и это вызывало у него безмерное отвращение. "По сей день, если я слышу отдаленный крик, это с болезненной живостью напоминает мои чувства, когда, проходя мимо дома недалеко от Пернамбуку, я слышал самые жалобные стоны и не мог не подозревать, что пытаются какого-то бедного раба, но знал, что я бессилен, как ребенок, даже возразить.... Недалеко от Рио-де-Жанейро я жил напротив пожилой дамы, которая держала шурупы, чтобы раздавливать пальцы своим рабыням.

Я останавливался в доме, где молодой домашний мулат ежедневно и ежечасно подвергался оскорблениям, избиениям и преследованиям, достаточным для того, чтобы сломить дух самого низкого животного".[324] В результате этого опыта и многих других Дарвин впитал отвращение к рабству и рабовладельцам, которое длилось всю жизнь и которое побудило его выступать против них везде, где он мог, будь то в Англии или Америке.

Враждебность к рабству была основана еще глубже на сильной ненависти к жестокости, варварству и причинению физических страданий любого рода. Неприязнь к таким страданиям была настолько сильной, что с самого начала сделала Дарвина неспособным к медицинской профессии, которой его отец был бы рад видеть его последователем. Он не мог выносить вида крови и с отвращением бежал с операции. Жестокое обращение с животными было для него особенно мучительным, и он вмешивался, чтобы предотвратить это, когда мог: "Однажды он вернулся с прогулки бледный и в обмороке, увидев, как жестоко обращались с лошадей, и от волнения яростно протестовал против человека".[325]

При такой общей чувствительности отношение Дарвина к вивисекции чрезвычайно любопытно. Прекрасно понимая важность экспериментов на животных, он никак не мог встать на сторону противников вивисекции. Но он поддерживал все попытки законодательно подчеркнуть гуманность и жестко настаивать на ней. Природа его чувств по этому поводу ясно видна в отрывке из "Происхождения человека": "Каждый слышал о собаке, пострадавшей при вивисекции, которая лизнула руку оператора; этот человек, если только операция не была полностью оправдана расширением наших знаний или если у него не было каменного сердца, должно быть, испытывал угрызения совести до последнего часа своей жизни".[326]

Социологическими вопросами более широкого характера, которые не так непосредственно затрагивали его восприимчивость, Дарвин интересовался гораздо меньше. Время от времени его возбуждает какой-нибудь особый момент. Он был взволнован любой попыткой помешать браку двоюродных братьев, потому что он женился на своей двоюродной сестре и, следовательно, в значительной степени исследовал этот вопрос.[327] Он был решительно против английской традиции первородства и чувствовал ее несправедливость. По земельному вопросу он пишет Уоллесу: 'Я вижу, вы собираетесь писать о самом сложном политическом вопросе - земле. Что-то должно быть сделано, но вот в чем загвоздка'.[328] В том же духе отстраненности и неуверенности он также пишет Уоллесу по поводу 'Прогресса и бедности' Генри Джорджа: 'Я, конечно, закажу "Прогресс и бедность", потому что тема очень интересная. Но много лет назад я прочитал несколько книг по политической экономии, и они произвели катастрофическое воздействие на мой разум, а именно: я совершенно не доверял своему собственному суждению по этому вопросу и сильно сомневался в суждениях всех остальных. Поэтому я уверен, что книга мистера Джорджа только еще больше запутает мой разум, чем сейчас'.[329] Но ясно, что отдаленность не подразумевала презрения или циничного пренебрежения, просто чувство полной неспособности и неуверенности в себе в отношении экономических проблем, и человек не спешит осуждать такое состояние ума, когда думает, что такие проблемы обычно рассматриваются и решаются, если это можно так назвать, теми, в чьем арсенале свобода от неуверенности в себе является самым агрессивным и впечатляющим инструментом.

К художественным и общим эстетическим вопросам Дарвин, во всяком случае, в более поздние годы, был еще более равнодушен, чем к политическим. Это правда, что его научные исследования иногда включали абстрактный анализ эстетики: «Я согласен с тем, что вы говорите о красоте. Раньше я много думал на эту тему и был вынужден полностью отвергнуть доктрину о том, что красота создается ради красоты».[330] Теория полового отбора, представленная в «Происхождении человека», потребовала много дискуссий о восприимчивости к цвету, форме и музыке. Но такая эстетическая дискуссия не имеет ничего общего с эстетическим наслаждением.

В отношении Дарвина можно сказать одно: в искусстве, как и во всем остальном, он был абсолютно свободен от притворства. Он говорит об одной писательнице: «Претенциозность ее стиля крайне неприятна, если не сказать тошнотворна для многих людей».[331] Все искусственное, все наигранное вызывало у него особое отвращение, и никогда, ни при каких обстоятельствах он бы не стал притворяться, что восхищается или ценит произведение искусства, которое на самом деле оставило его равнодушным. Действительно, отчасти именно его сильное желание не показывать, что он чувствует то, чего на самом деле не чувствует, сделало его склонным недооценивать свое художественное удовольствие по сравнению с восторгами тех, кто традиционно восклицает по поводу того, чего они не понимают и чем не наслаждаются.

Тем не менее, кажется бесспорным, что искусство в его разнообразных формах вряд ли доставляло Дарвину то удовольствие и утешение, которые оно приносит многим людям. Театр его мало интересовал ни в один период его жизни. Усилия, усталость и скованность перевешивали очарование. Миссис Дарвин, которая любила обычные пьесы, хотя и находила Шекспира скучным и говорила об этом с некоторой долей откровенности своего мужа, весьма обеспокоена по этому поводу: «Настоящего мошенника в моей судьбе я от вас утаила, но рано или поздно я должна вам в этом признаться. Дело в том, что ему очень не нравится ходить на спектакль, так что я боюсь, что у нас возникнут какие-нибудь семейные разногласия на эту тему».[332] Позже она водит его посмотреть Макреди в «Ришелье» и надеется, что он обращается, но нет никаких признаков того, что надежды наконец оправдались.

С пластическими искусствами дело обстоит несколько лучше. Здесь мало упоминаний архитектуры. Один отрывок в письме, кажется, наводит на мысль об ощущении величия собора, но эстетика быстро переходит в научную подоплеку: «Возможно, чувство возвышенности, возбуждаемое величественным собором, может иметь некоторую связь со смутными чувствами ужаса и суеверия у наших диких предков, когда они входили в большую пещеру или мрачный лес».[333] Что касается картин, его сын думает, что он до некоторой степени сохранил свою любовь к ним.[334] Его биограф замечает: «Его любовь к картинам в молодости была очень сильной». почти доказательство того, что он, должно быть, ценил портрет как произведение искусства, а не как сходство».[335] И биограф совершенно справедливо добавляет: «Этот взгляд на себя как на невежду во всех вопросах искусства был подкреплен отсутствием притворства, которое было частью его характера».[336] Немедленное узнавание сцены с Сальватором Розой в одном из «опытов с Биглем» показывает знакомство с живописью в ее различных формах и

периодах.[337] Тем не менее, картины сделайте так, чтобы в письмах Дарвина все было иначе, чем, например, в письмах Эдварда Фитцджеральда.

Формой искусства, которая больше всего значила для Дарвина и в которую он, казалось, погружался с наибольшим приближением к экстазу, была музыка. Здесь опять же много теоретических дискуссий, которые, как иногда кажется, по своей природе снижают эмоциональное наслаждение. Но не может быть никаких сомнений в том, что Дарвин в молодости испытывал эмоциональное наслаждение, искреннее и глубокое, даже временами непреодолимое. Он действительно признается, что его музыкальный слух не был тонким или совершенным: "Я настолько лишен слуха, что не могу уловить диссонанс, или держать такт, и правильно напевать мелодию; и это загадка, как я мог получать удовольствие от музыки".[338] Но очевидно, что он действительно получал такое удовольствие и изо всех сил старался его найти: "Я также попал в музыкальную группу.... Общаясь с этими людьми и слушая их игру, я приобрел сильный вкус к музыке и очень часто планировал свои прогулки так, чтобы в будние дни слушать гимн в часовне Королевского колледжа".[339]

Они тоже любили хорошую музыку, ни в коем случае не то, что было дрянным или дешевым. Ему нравились Бетховен и Гендель, у него было природное чутье на высокое и изящное, как в этом, так и в других вопросах. Миссис Дарвин водила его на концерты классической музыки, и он откликался на них гораздо более сердечно, чем в театр. Ему нравилось, когда его жена и сестры играли для него, и когда он отсутствовал с "Биглем", он писал: "Я надеюсь, что ваши музыкальные вкусы останутся в должной силе. Я буду без ума от фортепиано".[340]

И наслаждение было не просто поверхностным, оно проникало глубоко и захватывало нервы. "В конце одной из частей, которая была чрезвычайно впечатляющей, он повернулся ко мне и сказал с глубоким вздохом: "Как твой характер?" Он часто говорил о холоде или дрожи в спине при прослушивании прекрасной музыки".[341] Упоминания об этом трепете, об этом напряжении нервного музыкального возбуждения время от времени встречаются даже в более научных работах Дарвина.

А еще есть повторяющиеся сомнения, недоверие к чьей-либо искренности, отчаянный страх перед сентиментальной условностью в этих художественных вопросах: "Это доставляло мне огромное удовольствие, так что иногда у меня по спине пробежали мурашки. Я уверен, что в этом вкусе не было ни притворства, ни простого подражания, потому что обычно я ходил в Королевский колледж один и иногда нанимал мальчиков-хористов, чтобы они пели в моих комнатах".[342]

Но, притворство это или нет, музыкальный энтузиазм исчез, и его вытеснил нарастающий, всепоглощающий рост научной озабоченности. Действительно, любой, кто восприимчив к музыкальному наслаждению, понимает, насколько оно неуловимо, насколько сильно зависит от благоприятных условий и окружения и насколько своеобразно его тонкое качество подвержено стиранию отвлекающими факторами другого порядка. И комментарий Дарвина по поводу исчезновения его удовольствия от музыки таков: "Я сказал, что раньше картины доставляли мне значительное, а музыка - очень большое удовольствие.... Я также почти утратил вкус к картинам или музыке. Музыка обычно заставляет меня слишком энергично размышлять о том, над чем я работал, вместо того, чтобы доставлять мне удовольствие".[343]

Когда Дарвин наслаждался красотой литературных форм, чувство утраты было у него таким же острым, как и в случае с музыкой. Из более высоких и утонченных элементов стиля и воображения мало свидетельств того, что он был сознателен. Такое осознание, казалось бы, не очень сочеталось с его замечанием о Бакле: "На мой вкус, он самый лучший писатель английского языка, который когда-либо жил, пусть другой будет кем угодно".[344]

В этой связи интересно рассмотреть собственный стиль Дарвина, как он проявляется в огромной массе его произведений, охватывающих, вероятно, вместе с буквами и всем прочим более двух миллионов слов. В этой массе время от времени встречаются отрывки привлекательной красоты или поразительной действенности, например, очаровательное предложение, написанное в возрасте: "Я бы очень хотел увидеть вас снова, но вы сочли бы визит сюда очень скучным, потому что мы чувствуем себя очень старыми, у нас нет развлечений, и мы ведем уединенный образ жизни",[345] или гораздо более ранний отрывок: "Это письмо самое неопрятное, но на душе у меня беспокойно от радости".[346]

Но Дарвин в своих трудах не придавал бы значения подобным качествам. Ему предстояло подарить миру великое открытие. Его единственным желанием было изложить это точно, доходчиво и в убедительной форме, и его приводило в отчаяние то, что он думал, что природа не наделила его необходимыми для этого способностями. Он завидует замечательному литературному мастерству Хаксли и Спенсера и сожалеет о своей собственной неспособности придать своим мыслям такую форму, которая заставила бы человечество читать и понимать их: "Я не верю, что какой-либо человек в Англии от природы пишет таким мерзким стилем, как я".[347]

Что является грубым преувеличением и относится к смирению, столь проявляемому в других, более важных вопросах. Это правда, что существуют любопытные отступления от простой формальной корректности, как в довольно привлекательном неправильном употреблении слова "нравится", которое иногда встречается: "Немногие наблюдали так, как это делали вы".[348] Верно также, что Дарвин не обладал быстрой и красноречивой энергией Хаксли, у которого иногда бывает достаточно мужественной энергии, чтобы заставить силу утверждения казаться правдой факта. Но я думаю, что никто не может широко читать Дарвина, не почувствовав особого очарования в абсолютной простоте его манеры выражать свои мысли. Конечно, Хаксли предполагает, что сама простота иногда вводит в заблуждение: "Несколько обманчивая простота стиля, которая имеет тенденцию маскировать сложность предмета".[275] Но когда так много писателей усложняют простые предметы, было бы, конечно, невежливо жаловаться на того, кто делает трудный предмет простым. Как я уже предполагал ранее, совершенная прямота Дарвина, его абсолютная искренность, его интенсивное и очевидное усилие заставить вас думать вместе с ним, по-видимому, заменяют выдающиеся литературные качества и придают его прозе разоблачающую прямоту, которой совершенно не хватает некоторым более опытным людям.

Особенно это касается переписки, где отделка и техническое совершенство имеют меньшее значение, чем сила спонтанного духовного контакта. В поддержании этого контакта мало кто из авторов писем может превзойти Дарвина, и его четыре солидных тома, какими бы техническими и научными они ни были, обладают исключительной и постоянной привлекательностью для тех, у кого есть вкус к такого рода сочинениям.

Что касается его личного удовольствия от литературы, то, по крайней мере, одна ее форма продолжала привлекать его до самого последнего, и это была художественная литература. Облегчение от напряжения научных трудов он лучше всего находил в рассказах, которые отвлекали и поглощали: 'Он очень любил романы, - говорит его сын, - и я хорошо помню, как он предвкушал удовольствие от того, что ему прочтут роман, когда он ляжет или закурит сигарету. Он проявлял живой интерес как к сюжету, так и к персонажам и ни в коем случае не знал заранее, чем закончится история; он считал, что смотреть на конец романа - женский порок'.<sup>[276]</sup> Сам Дарвин подтверждает это утверждение: 'Романы, которые являются произведениями воображения, хотя и не очень высокого уровня, в течение многих лет были для меня чудесным облегчением и удовольствием, и я часто благословляю всех романистов. Удивительное количество книг было прочитано мне вслух, и мне нравятся все, если они в меру хороши и не заканчиваются плачевно, против чего следовало бы принять закон'.<sup>[277]</sup> Ему нравилась мисс Остин, он обожал Скотта и цитирует особенность лица лэрда Редгонлета в книге "Экспрессия". Ему не нравился реализм, даже в той мягкой форме, которую практиковал Джордж Элиот, и он хотел, чтобы вещи и люди были приятными: "Роман, на мой вкус, не относится к первому разряду, если в нем нет человека, которого можно по-настоящему полюбить, а если это красивая женщина, тем лучше".<sup>[197]</sup>

Но для высших разрядов литературы потеря была несомненной, и сам Дарвин делает это очень выразительным. Он говорит нам, что в юности ему нравилась поэзия. Шекспир был его любимым чтением. Он читал Томсона и Байрона, и получил большое удовольствие от "Потерянного рая": "Раньше "Потерянный рай" Мильтона был моим главным любимым произведением, и во время моих экскурсий во время плавания на "Бигле", когда я мог взять только один том, я всегда выбирал Мильтона".<sup>[198]</sup> Убедительным доказательством этого наслаждения являются частые ссылки на поэтическое чтение в книгах Дарвина. Даже в связи со строго научными темами он склонен приводить цитаты из поэтов, которые не только доказывают его точку зрения, но и демонстрируют его осведомленность.

Однако в последующие годы весь этот поэтический интерес исчез, и Дарвин глубоко оплакивает это исчезновение. Шекспир, который тронул и взволновал его, перестает вызывать какие-либо эмоции, звучит просто пусто: "Вот уже много лет я не могу вынести ни строчки стихов: недавно я пытался читать Шекспира и нашел его таким невыносимо скучным, что меня затошнило".<sup>[199]</sup>

Один умный автор в ежемесячнике "Популярная наука" несколько лет назад попытался доказать, что здесь, как и в других вещах, скромность Дарвина сильно преувеличивала его недостатки и что его естественная поэтическая симпатия была больше, чем он сам признавал. Этот автор ссылается на раннее увлечение Дарвином и его постоянные, меткие и точные цитаты, чтобы подтвердить тезис: "Благодаря его бессознательному признанию и свидетельствам его письменных работ, его разум был пропитан поэтическим чувством; на протяжении всей своей зрелой жизни он готов цитировать, когда того требует случай; и сама острота его сожаления об утрате поэзии свидетельствует о его поэтическом даровании".<sup>[200]</sup> Но утверждение, хотя и остроумное, преувеличено. Быстрый интеллект Дарвина интересовал сущность Шекспира, Мильтона и других поэтов и прозаиков. Но мне кажется невозможным, чтобы кто-либо, действительно ощутивший высокий стимул великолепия воображения Шекспира, мог когда-либо утратить его до такой степени, о чем Дарвин с очевидной искренностью сожалеет. Сент-Бев обладал таким же широким и разнообразным научным

любопытством, как и Дарвин. Но он сказал, когда ему было далеко за пятьдесят: "Я редко пишу о поэзии, именно потому, что я так сильно любил ее и потому, что я все еще люблю ее больше всего на свете".[201] Старость Гете была наполнена научными заботами, но слава поэзии была для него больше, чем любая возможная наука.

### III

Самым интересным моментом в связи с этими эстетическими вопросами является то, что Дарвин, несмотря на весь его тесный контакт с природой и все его научные исследования, по-видимому, не испытывал особого восторга, который дает природная красота многим, кто часто имеет мало научных знаний или вообще их не имеет. Здесь, конечно, больше, чем в какой-либо другой области, царит буйство условностей и притворства, и тысячи людей болтают об облаках, закатах и пении птиц, у которых к этим вещам не больше реального чувства, чем к любой другой форме эстетического развития. Тем не менее, экстаз был записан и передан слишком многими людьми, чей дар самовыражения столь же впечатляющ, сколь и бесспорна их искренность, чтобы им пренебрегали или не замечали. Стоит более внимательно изучить некоторые элементы этого творческого наслаждения миром природы.

Начнем с восторга простого восприятия, волнения, необъяснимого трепета, который сопутствует цвету, форме, звуку и движению, с покачиванием цветка и трепетом бабочки, с

"Мысли, которые часто лежат слишком глубоко, чтобы вызывать слезы".

И, без сомнения, это наслаждение часто бывает слишком тонким, слишком деликатным, слишком неуловимым, слишком мимолетным, чтобы выразить его словами, и оно приходит ко многим, кто никогда не мог найти слов, чтобы передать его. О его высокой интенсивности может свидетельствовать краткая и пронзительная фраза Каупера: 'О! Я мог бы проводить целые дни и лунные ночи, упиваясь прекрасной перспективой. Мои глаза пьют реки, когда они текут'.[202]

Секрет наслаждения, должно быть, кроется главным образом в неясных процессах ассоциации, намеках и предположениях о скрытой радости и печали, которые уходят глубоко в корни подсознательной памяти. Но в любом случае верно, что такое наслаждение гораздо больше связано с простыми сценами и домашней обстановкой, чем с отдаленным, живописным или с тем, что Дарвин так часто называет возвышенным. Торопливый турист, который носит по миру в поисках какой-нибудь более высокой горы, более грубого ледника или более дикой долины, - это не тот, кто ощущает тайное очарование природы, а скорее тот, кто прогуливается по уединенным, тихим полям или лесам, которые он всегда знал и любил. Возвращение фиалок ранней весной, пение дроздов в летних сумерках - вот те вещи, которые вызывают слезы, они наполнены тяжестью всего, что имеет в виду Каупер, когда пишет о

Сцены, которые успокаивали

Или очаровал меня молодым, но, на мой взгляд, уже не молодым

Все еще успокаивающий и способный по-прежнему очаровывать меня".[203]

И именно в этом вопросе объединения поэты помогают нам больше всего. Именно они могут распутать тонкие нити эмоций и мыслей, которые сплелись вокруг простых впечатлений от мира природы, и которые, в свою очередь, могут сплести ткань еще более великолепного воображения со всем нашим зрением и всем нашим слухом. Это Шекспир с его

‘Нарциссы

Которые придут раньше, чем ласточка осмелится, и заберут

Мартовские ветры с их красотой".

это Китс, с его

"Высокие дубы, ветви очарованы искренними звездами",

или его,

"Быстро увядающие фиалки, покрытые листьями",

которые хранят в наших душах воспоминания, которые трепещут при виде нарциссов, фиалок и звезд.

А воображение идет еще дальше, пронизывает всю природу, преобразует ее, превращает в живое, чувствующее единство, совершенно непохожее на мертвое многообразие, над которым ученый проводит свои гениальные исследования. Возьмите ‘Природу’ Эмерсона и сравните ее с книгой Дарвина о дождевых червях. В "Дарвине" есть свое очарование: он заставляет вас с тоской проводить свои дни, наблюдая, тестируя и измеряя крошечных существ, которые постоянно появляются на поверхности земного шара. Но Эмерсон наполняет весь этот природный мир мыслью, творческим человеческим разумом, растворяет его, формирует его, воссоздает заново, швыряет и вертит им до тех пор, пока он не покажется шариком и мелочью, которую всемогущая душа человека может создать или уничтожить по своему усмотрению. Или, опять же, у Вордсворта есть ощущение оживающей жизни в природе, тусклой, безличной личности, которая вечно проходит и повторно проходит через бесконечные проявления, которые - это все, что ученый может сосчитать или измерить,

"Присутствие, которое тревожит меня своей радостью"

Возвышенных мыслей".

И поскольку существует ощущение этой более глубокой жизни в природе, этого более глубокого, таинственного единства, стоящего за всеми разнообразными сдвигами и переменами, то возникает страстное желание слиться с этим единством, потерять свое жалкое, незначительное, беспокойное, мучительное "Я" в этом огромном, безграничном, неизмеримом Целом. Вот жажда "Адонаиса" Шелли:

"Эта поддерживающая любовь,

Который был слепо сплетен через паутину бытия

Людьми и животными, землей, воздухом и морем,

Горит ярко или тускло, поскольку каждое из них является зеркалом

Огонь, которого все жаждут.

Раздается возглас Байрона:

"Я живу не в себе, но я становлюсь собой"

Часть этого обо мне и для меня

Высокие горы - это чувство".[204]

И с осознанием того, что страстное желание не может быть удовлетворено, что мы навсегда заключены в непреодолимые барьеры этого мелочного "Я", из которых нет выхода, приходит горький бунт отчаяния или глубокая меланхолия вопрошания. Это Оберманн с его словами: "Там, в тишине ночи, я усомнился в своей неопределенной судьбе и в этой непостижимой вселенной, которая, вмещающая в себя все, все же не содержит моих желаний".[205] Или, как выразился один американский современник о глубоком намеке серьезных звезд: 'О Лира, я смотрел на тебя до тех пор, пока не перестал различать твой блеск собственными глазами. Я смотрел на тебя, пока моя душа не покинула мое тело и не закружилась с тобой среди звезд; но есть что-то, чем являюсь я, а ты нет, что-то, что не дает мне покоя....

‘Бесконечный Разум! Бесконечная красота! Или сделай меня тем, что ты есть, прими меня к себе, или освободи меня от этой страсти, которую я не могу удовлетворить и не могу уничтожить. Сделай меня таким, как все люди, тружениками и забывчивцами, ищущими вчера в сегодняшнем дне, а сегодняшний день - в завтрашнем, и иллюзию всегда; или исполни для меня надежду, о которой шепчут воды, которую я чувствую вечно пульсирующей в сердце твоего мира".

Из всего этого у Дарвина ровным счетом ничего нет, ничего, ничего. Действительно, можно сказать, что с природой, как и с другими вещами, у многих людей возникают чувства и переживания, которые они не выражают и не пытаются выразить. Но люди, которые ценят такой опыт общения с миром природы, обычно проявляют более постоянное внимание и заинтересованность к его выражению в других, чем это было у Дарвина. Такой меланхолии или страстного стремления, о которых говорилось выше, от него, конечно, нельзя было ожидать. В его темпераменте не было естественной меланхолии. Он был подавлен и обескуражен, когда дела шли плохо, но в целом его нрав был ровным и безмятежным. Но его наслаждение природными пейзажами и предметами, которое бесспорно и доказано его собственными свидетельствами и свидетельствами других, по-видимому, в целом носило довольно поверхностный характер и, конечно, не имело ничего общего с природой страсти. Насколько, например, сильно отличается его прикосновение от прикосновения Лукреция.

Дарвин наслаждался живописными окрестностями и новыми впечатлениями. Он наслаждался красотой цветов, их цветом и формой. Рассказ его сына об этом очень очарователен: "Раньше мне нравилось слушать, как он восхищается красотой цветка; это была своего рода благодарность самому цветку и личная любовь к его нежной форме и окраске. Кажется, я помню, как он нежно прикоснулся к цветку, который ему нравился; это было то же простое восхищение, которое мог бы испытывать ребенок".[206] Иногда также встречаются разрозненные намеки, которые, кажется, предполагают более глубокое чувство. Вот описание того часа в Мур-парке: "Наконец я заснул на траве и проснулся от пения птиц вокруг меня, и белок, бегающих по деревьям, и смеха нескольких дятлов, и это была самая приятная и сельская сцена, какую я когда-либо видел, и меня ни на грош не волновало, как сформировались те или иные звери или птицы".[207] Но даже здесь, 'самая приятная и сельская сцена, какую я когда-либо видел", на дворе восемнадцатый век, а не девятнадцатый. В 'Бигле' есть еще более напряженный эпизод: 'Ни растение, ни птица, за исключением нескольких кондоров, кружащих вокруг более высоких вершин, не отвлекли моего внимания от

неодушевленной массы. Я был рад, что остался один: это было все равно что наблюдать за грозой или слышать в полном составе хор "Мессии".[208] И в раннем письме Хенслоу есть поразительный штрих: "Наслаждение сидеть на гниющем стволе среди тихого мрака леса невыразимо и никогда не забудется",[209] который, по крайней мере, наводит на мысль Оберманна в лесу Фонтенбло.

Но эти редкие и разрозненные намеки служат лишь для того, чтобы выявить иную природу привычного отношения, и достаточно ясно, что такой эстетический элемент, как там, постепенно угасал в растущем увлечении наукой. Нельзя отрицать, что в основном интерес Дарвина к природе был интеллектуальным, а не эмоциональным.

## IV

Как в случае с социологией и эстетическим опытом, так и в еще большей степени в случае с Богом и творениями Бога, ограничения Дарвина глубоко интересны, и если потеря была меньшей, потому что терять было меньше, тем не менее, это было важно во всех своих аспектах. Здесь снова, как и в случае с эстетическими эмоциями, следует помнить, что люди не высказывают всего, что они чувствуют, и те, кто чувствует больше всего, иногда высказывают меньше всего. Но так случилось, что обстоятельства вынудили Дарвина очень откровенно рассказать о своих религиозных взглядах и опыте, так что мы вправе предполагать, что у нас есть доступ практически ко всему, что там было.

Никогда не следует забывать, что Дарвин вырос в насквозь традиционной атмосфере английской церкви. Ни его отец, ни дед не были активно верующими, но огромная традиция строгого этикета, от которой редко ускользает английская верхушка среднего класса, была присуща ему с детства и оставила в нем неизгладимый след. Чтобы оценить, насколько навязчивой и гнетущей была атмосфера, стоит прочитать 'Столетие семейных писем', отредактированное дочерью Дарвина. Привкус устоявшейся религиозной пристойности настолько ошеломляющ, что возникает вопрос, как Дарвин мог когда-либо интеллектуально освободиться от него.

Миссис Дарвин была мудрой и очаровательной женщиной, и она была бесценна для своего мужа, но, о, она была англичанкой. Она проявляла подобающий жене интерес к научным приключениям Дарвина и иногда помогала ему. У нее были свои опасения по поводу враждебности его критиков, а также по поводу направления его спекуляций, и ее дочь предполагает, что в более поздние годы эти спекуляции повлияли на религиозные убеждения матери.[210] Но мне очень нравится этот прекрасный пассаж о заботе о вечном благополучии мужа, написанный в год публикации "Происхождения": "Я уверен, ты знаешь, что я люблю тебя достаточно сильно, чтобы поверить, что я переживаю за твои страдания почти так же сильно, как за свои собственные, и я нахожу единственное облегчение для себя - принять это как должное". от Божьей руки и пытаться верить, что все страдания и болезни предназначены для того, чтобы помочь нам возвысить наш разум и с надеждой смотреть в будущее. Когда я вижу ваше терпение, глубокое сострадание к другим, самообладание и, прежде всего, благодарность за малейшую вещь, сделанную для того, чтобы помочь вам, я не могу не желать, чтобы эти драгоценные чувства были принесены в жертву Небесам ради вашего повседневного счастья".[211] Кроме того, миссис Дарвин внимательно наблюдала за этим величественно-отвратительным учреждением, викторианским воскресеньем: "Я помню, она убедила меня, - пишет родственница, - отказаться от любых приглашений соседей, связанных с поездкой в

экипаже в тот день, и у нее самой возник вопрос, правильно ли она поступила бы, если бы вышивайте, вяжите или раскладываете пасьянс".[212] Мне кажется особенно восхитительным, что к субботе относятся с таким почтением в доме того, кто больше, чем кто-либо другой, должен был сделать для полного уничтожения Бога Субботы.

Таким образом, очевидно, что Дарвин вырос с сильной религиозной привычкой. Были даже серьезные разговоры о его вступлении в церковь, пока его безнадежное отсутствие призвания не сделало это явно невозможным. Сеть религиозного наследия и обстоятельств была тесно сплетена вокруг него, и в первые дни он осознавал себя в целом достаточно ортодоксальным. Мне особенно нравится ответ, который он дал своим друзьям-католикам в Южной Америке, которые призывали его прозреть: 'Почему ты не становишься христианином, ведь наша религия верна?' "Я заверил их, что я в некотором роде христианин".[213] В некотором роде христианин! Разве это не очаровательно характерно? Вы можете себе представить, миллионы фанатиков сегодня воют: "Что это за христианин?"

По крайней мере, одно можно сказать наверняка: Дарвин никогда не был циничным или насмешливым в своем отношении к религии. Без малейшего следа жеманства или язвительности он всегда говорил о церкви, духовенстве и религиозной практике с уважением и с той же мягкой терпимостью, которую он проявлял по отношению к тем, кто отличался от него в чем-либо. Особенно показательны в этом отношении его ссылки на миссионеров, с которыми он соприкоснулся во время своего путешествия на юг. Сначала он был расположен говорить о них, мягко говоря, без энтузиазма, и адмирал Салливан, который был с ним на "Бигле", рассказывает о своем скептицизме по поводу миссионерской работы, "его убежденности в том, что совершенно бесполезно посылать миссионеров к такому сборищу дикарей, как жители Огненного огня".[214] Много лет спустя Дарвин полностью обратился и, как обычно, не колеблясь сказал об этом: "Он написал мне, что он был неправ, а я прав в наших оценках характера местных жителей и возможности принести им пользу с помощью миссионеры; и он попросил меня переслать Обществу прилагаемый чек на 5 фунтов стерлингов в качестве свидетельства заинтересованности, которую он проявлял к их хорошей работе".[215] С той же целью можно привести и другие отрывки.

А религиозное воспитание и постоянное присутствие рядом с ним возвышенных, серьезных, живущих со смыслом людей выработали в Дарвине надежную привычку к морали и живую деятельность совести. Он мог бы подвергнуть моральную привычку в теории холодному анализу: "Моральная природа человека достигла своего нынешнего уровня, частично благодаря развитию его мыслительных способностей и, следовательно, справедливого общественного мнения, но особенно из-за того, что его симпатии стали более нежными и широко распространились под воздействием привычки, примера, наставлений и размышлений".[216] Но анализ ни в малейшей степени не повлиял на его собственный личный инстинкт правильного образа жизни.

Дело не только в том, что нет никаких проявлений или записей о каких-либо нарушениях в поведении. Но гораздо более того, существуют неоднократные свидетельства тончайшей щепетильности и нежной совести, которых не превзошел бы самый набожный и трепетный христианин. Возможно, это был "своего рода христианин", но, несомненно, неплохой человек, который, как я уже упоминал ранее, встал посреди ночи, чтобы исправить воображаемое

искажение, касающееся не научного факта, а эстетического опыта.[\[298\]](#) А мой друг-священник описывает похожий инцидент, не менее поразительный: "Однажды, когда на собрании прихода обсуждался какой-то спорный вопрос, не имевший большого значения, я был удивлен ночным визитом мистера Дарвина. Он пришел сказать, что, обдумывая спор, хотя то, что он сказал, было совершенно точным, он подумал, что я, возможно, сделал ошибочный вывод, и он не уснет, пока не объяснит это".[\[299\]](#) С членами его собственной семьи было такое же скрупулезное, нежное беспокойство не делать и не говорить ничего несправедливого или недоброго. После вполне оправданной вспышки негодования по поводу легкомыслия одного из его сыновей "На следующее утро в семь часов он пришел в мою спальню и сказал, как ему жаль, что он был так зол и что не смог уснуть; и, сказав несколько добрых слов, он покинул меня".[\[300\]](#) Этот "вид христианина", возможно, даже еще не так распространен, как можно было бы пожелать.

С другой стороны, когда мы переходим к более интимным, личным аспектам религиозной жизни, отчет Дарвина представляется в основном негативным, и те более ранние следы, которые там были, постепенно исчезают. Возьмите молитву. И здесь, при изучении выражения, мы сталкиваемся с научным анализом молитвы, во всяком случае, как отношения:

"Следовательно, маловероятно, что поднятие глаз или сложение раскрытых рук под влиянием благочестивых чувств являются врожденными или истинно выразительными действиями, и этого вряд ли можно было ожидать, поскольку очень сомнительно, чтобы чувства, которые мы должны причислять к благочестивым, влияли на сердца людей, в то время как они оставались в прошлые века в нецивилизованном состоянии".[\[301\]](#) Также существуют другие случайные проявления. ссылки на внешние аспекты религиозного прошения, как в журнале "Бигль": "Он молился, как и подобает христианину, с подобающим благоговением, не опасаясь насмешек или какой-либо показухи благочестия".[\[302\]](#)

Но о молитве как личном опыте я нахожу только один-единственный намек. Когда Дарвин был мальчиком, он был хорошим бегуном, часто участвовал в скачках и часто добивался успеха. Интересно его объяснение своего успеха в то время: "Когда я сомневался, я искренне молился Богу помочь мне, и я хорошо помню, что приписывал свой успех своим молитвам, а не быстроте бега, и удивлялся, как часто мне помогали".[\[303\]](#) Это напоминает юношеский опыт Муди, который попал под перила забора и не мог пошевелиться, но вознес искренние молитвы Богу, а затем смог довольно легко поднять перила.

Насколько можно судить по каким-либо материальным свидетельствам, молитва сыграла в дальнейшей жизни Муди совсем иную роль, чем в жизни Дарвина. Это правда, что, вероятно, очень много людей молятся, которых никто никогда бы в этом не заподозрил. У меня был старый друг, который был благочестиво воспитан, но в течение многих лет был унитарием, редко ходил в церковь, явно безразличен к религии и обсуждал спекулятивные, конечные проблемы уничтожения свободы. И все же в порыве доверительности он рассказал мне, что каждый вечер, ложась спать, повторял по существу, если не словами, молитвы, которые выучил, стоя на коленях у матери. 'Я не знаю, что это значит, - сказал он. - я не знаю, есть ли Бог, слышит ли Он меня и чего я от Него хочу; но я молюсь'. И я, который не молился тридцать лет, слушал его с изумлением. Тем не менее, я не верю, что Дарвин повторял "Теперь я кладу себя" до конца или молился о триумфе эволюции так же, как он молился о триумфе в беге пешком.

Вопрос о будущей жизни, по-видимому, имел для Дарвина такую же малую актуальность, как вопрос о молитве, и у нас есть более четкие доказательства на этот счет, потому что корреспонденты всегда писали для изложения его убеждений. Он никогда не посвящал себя какому-либо полному утверждению своего неверия. Напротив, он вполне готов признать некоторые убедительные положительные аргументы: "Веря, как и я, в то, что человек в отдаленном будущем будет гораздо более совершенным существом, чем он есть сейчас, невыносима мысль о том, что он и все другие разумные существа обречены на полное уничтожение после столь продолжительного медленного прогресса. Тем, кто полностью признает бессмертие человеческой души, разрушение нашего мира не покажется таким ужасным".[304] Однако трудности кажутся непреодолимыми, и он едва ли способен принять какую-либо определенную веру: 'Многие люди, кажется, довольно легко относятся к бессмертию ... интуитивно; и я полагаю, что должен отличаться от таких людей, потому что я не чувствую никакой врожденной убежденности в подобных вопросах'.[305]

Высшим испытанием относительно будущего является смерть тех, кого мы любим, и мысль о нашей собственной смерти. В 1851 году Дарвин потерял маленькую дочь, которую он нежно любил. В его интимных письмах того времени есть нежные и трогательные упоминания о ней, но в них нет ни единого слова, указывающего на малейшую надежду когда-либо снова встретиться с ней. Когда он сам был близок к концу, умственно чистый, но без надежды на выздоровление, его спокойными словами были: "Я несколько не боюсь смерти".[306]

Что касается вопроса о Боге, заявления Дарвина столь же подробны, как и в отношении бессмертия, и по той же причине, потому что нетерпеливые исследователи были полны решимости выяснить, на чем он стоял. В молодости, хотя он все еще верил в теорию особых творений, он без колебаний принял деистическую точку зрения: "Много лет назад, когда я собирал факты для "Происхождения", моя вера в то, что называется личным Богом, была такой же твердой, как у самого доктора Пьюзи".[307] С годами разработка его теорий претерпела глубокие изменения, но, тем не менее, он ни разу не признал абсолютного неверия или воинствующего атеизма. Он снова и снова приводит старые-престарые аргументы. Как мог всемогущий Бог, желавший блага всем своим созданиям, навлечь на страдающее творение такие бесконечные страдания? И снова возникает загадка замысла и вмешательства провидения. Он неохотно верит, что это огромное и упорядоченное целое объединилось по чистой случайности; и все же он обсуждает с Эйсой Греем возможное провидение в падении воробья: 'Невинный и хороший человек стоит под деревом и его убивает вспышка молнии. Верите ли вы (и я действительно хотел бы это услышать), что Бог *намеренно* убил этого человека? Многие или большинство людей действительно верят в это; я не могу и не хочу. Если вы так считаете, верите ли вы, что когда ласточка хватается комара, то Бог задумал, чтобы именно эта ласточка схватила именно этого комара в этот конкретный момент? Я полагаю, что человек и комар находятся в одном и том же затруднительном положении'.[308] Пантеистическое решение привлекает не намного больше, чем антропоморфное. Дарвин постоянно персонифицирует Природу с большой буквы "Н"; но он тщательно уточняет, что делает это для удобства и что Природа означает только сумму естественных законов в их вечном действии, а не какую-либо таинственную Божественную силу. Пантеистическое решение также создает столько же головоломок, сколько и решает. Итак, вывод состоит в том, чтобы оставить все подобные вопросы как безнадежные и неразрешимые, настолько неподвластные человеческому разуму, что, по-видимому, не предполагается, что он должен ими заниматься. И

Дарвин, по крайней мере, был удовлетворен тем, что взвешивал, измерял, экспериментировал и отпустил Бога.

Не похоже, что он испытывал ту потребность, тоску и вожделение, которые мучают некоторых из нас. Как и некоторым другим людям, возможно, как и многим другим, ему было достаточно жизни этого мира, работы этого мира, удовольствий этого мира, интересов этого мира, а другой мир мог просто ждать своей очереди. И как в начале этой главы я сравнил евангелиста Муди с ученым Дарвином из-за их крайней ограниченности интересов, так и в конце я хотел бы сравнить их снова, чтобы подчеркнуть огромную разницу. Для Дарвина было достаточно простого факта существования жизни во Вселенной и бесконечного любопытства к ней. Существовал Бог или нет, было вопросом, который не мог быть решен и не нуждался в обсуждении. Для Муди и жизнь, и вселенная были ничем без Бога.

## ГЛАВА V ДАРВИН: ВЛЮБЛЕННЫЙ

Я

Если Дарвин и не был замечен как любящий Бога, то, по крайней мере, он был замечен во всех отношениях как человек, любящий своих собратьев. Ему нравилось знакомиться с людьми, нравилось разговаривать с ними, нравилось, когда они были рядом с ним. Он интересовался человечеством, наслаждался контактом с ним и чувствовал в других теплое биение сердца, которое билось так же доброжелательно и сочувственно, как и его собственное. Мужчины, женщины и дети тянулись к нему и узнавали друга.

О его внешности главное впечатление, которое складывается у нас, естественно, связано с возрастом. Он был высок и крепко сложен, и в молодости, должно быть, был привлекателен на вид, хотя точных свидетельств этого нет. В более поздние годы его облик был величественным, но не суровым. "У него массивное лицо, - пишет Нортон Раскину, - с "небольшим количеством красивых черт, но большим количеством выражения".<sup>[235]</sup> Что, по-видимому, произвело на наблюдателей наибольшее впечатление, так это глаза и выражение в них. Профессор Осборн говорит: "Голубовато-серые глаза Дарвина, глубоко посаженные под нависающими бровями, производили впечатление глаз человека, который мог обозревать всю природу".<sup>[236]</sup> И Брайс соглашается: "Больше всего поражали выступающие надбровные дуги с кустистыми бровями, а глубоко под ними большие серо-голубые глаза с их ясным и пристальным взглядом". Это был настороженный взгляд человека, привыкшего внимательно наблюдать, но в то же время спокойный и задумчивый. На лице была приятная улыбка, которая легко появлялась и исчезала, но главное впечатление, производимое лицом, было впечатление спокойной, терпеливой задумчивости, как у человека, чей ум давно привык сосредотачиваться на серьезных проблемах".<sup>[237]</sup>

Есть общие свидетельства того, что Дарвин всегда проявлял гостеприимство и горячую доброту, приветствуя всех, кто приходил в его дом. В нем не было никакой сдержанности или напускного достоинства, а было совершенно естественное и сердечное желание и расположенность к

тому, чтобы каждый чувствовал себя как дома. Я не знаю более впечатляющего свидетеля этого обаяния манер, чем Лесли Стивен, который, безусловно, был не из тех, кем можно чрезмерно увлечься. Стивен говорит о "очаровании, которое никто из тех, с кем я когда-либо разговаривал, не мог не заметить в его присутствии и в его произведениях".<sup>[238]</sup> И в другом месте он останавливается на этом более подробно: "Он был в городе несколько дней и очень любезно зашел ко мне. Вы можете поверить, что я был горд приветствовать его, потому что из всех выдающихся мужчин, которых я когда-либо видел, он, вне всякого сравнения, самый привлекательный для меня. В его простоте и дружелюбии есть что-то почти трогательное. На днях я услышал историю о молодом немецком поклоннике, которого Лаббок привел к себе повидаться. Он не мог собраться с духом, чтобы заговорить с великим человеком, но, когда они ушли, разрыдался. Это не мой путь; но я в какой-то степени сочувствую восторженному голландцу".<sup>[239]</sup>

Записи бесед Дарвина столь же привлекательны, как и его внешность и манеры. То, что он обычно приступал к этому с большим рвением, видно из его собственного рассказа о своей усталости от этого: "Я нахожу, что в мои хорошие дни, когда я могу писать пару часов, все, что меня возбуждает, например, разговор в течение получаса или даже четверти часа, обычно повергает меня ниц, иногда даже на долгое время после этого".<sup>[240]</sup> Но совершенно очевидно, что он не увлекался разговором и даже после того, как его высокое положение было установлено, не имел ни малейшей склонности разглагольствовать или произносить речи, как это принято у некоторых выдающихся людей. Нортон даже заявляет, что "Его выступления не часто запоминаются из—за блеска или впечатляющих высказываний - но это всегда выражение качеств ума и сердца, которые сочетаются в таком редком совершенстве в его гении".<sup>[241]</sup>

Вместо того чтобы самому болтать лишнего, он любил вывести своих посетителей на чистую воду, узнать их интересы и точку зрения, не навязчиво, а с инстинктивной симпатией и со своим естественным скромным чувством, что их дела важнее его собственных. Он явно обладал в высокой степени изысканным искусством разумно слушать и задавать вопросы, которые выявляли все лучшее и наиболее выгодное в человеке, с которым ему довелось беседовать. Это хорошо видно из отчета Чарльза Кингсли о его первой беседе с ним: "Я был глубоко тронут, впервые встретившись с Дарвином. Я трепетал перед ним, как мальчишка, и жаждал сказать ему все, что я к нему чувствую, но не осмеливался, чтобы он не счел меня экстравагантным льстецом. Но скромность и простота его гения были очаровательны. Вместо того чтобы учить, он хотел только учиться, вместо того чтобы говорить, слушать, пока я не обнаружил, что он просит меня написать статьи, которые он пока вряд ли мог написать сам, не подозревая в своей великой простоте о моем невежестве и о своей собственной мудрости".<sup>[242]</sup>

Разговор далеко не всегда был серьезным. Не похоже, чтобы Дарвин получал большое удовольствие от юмористической литературы. Не былон и склонен к остроумным выпадам или блестящему ответу. Его мозг работал слишком медленно для скорострельной перепалки такого рода. Лишь изредка он набрасывался на многообещающего собеседника, как, например, когда заметил леди Дерби, описывавшей свои замечательные особенности зрения: "Ах, леди Дерби, как бы мне хотелось вас препарировать".<sup>[243]</sup> Прежде всего, у него не было склонности к сатирическому или горькому, и только при крайней провокации он мог написать Хаксли: "Да благословит вас Бог!—выздоровливай, будь праздным и всегда почитай епископа".<sup>[244]</sup>

Но он был полон добродушного веселья и был готов увидеть смехотворную сторону маленьких происшествий и даже великих. Он смеялся от души и часто, с заразной веселостью и жизнерадостностью. Ему нравились веселые беседы с юмором, с большим количеством анекдотов и искрометности, и он был готов подшучивать над своими друзьями и сам заниматься тем же самым. Он даже был готов найти комическую сторону в священной теме естественного отбора и превратить свои собственные глубочайшие интересы в повод для улыбок, когда представлялся подходящий случай. Так, он пишет Лаббоку о своем сыне: 'Посмотри, что значит быть хорошо обученным. Гораций сказал мне вчера: "Если бы все убивали гадюк, они стали бы меньше жалить". Я ответил: "Конечно, они бы это сделали, потому что их было бы меньше". Он с негодованием ответил: "Я не это имел в виду; но пугливые гадюки, которые убегут, будут спасены, и со временем они вообще никогда не будут жалить". Естественный отбор трусов!"[245]

В последние годы жизни Дарвин, конечно, мог быть постоянно занят общественными делами. Все хотели увидеть его, познакомиться с ним, поговорить с ним, развлечь его. Озабоченность его работой и проблемы со здоровьем делали любую подобную социальную активность невозможной, и маловероятно, что он сильно скучал по ней. И все же, куда бы он ни пошел, ему были рады, его общество ценилось не только за его репутацию, но и само по себе, и когда он мог передвигаться, это явно доставляло ему удовольствие: 'Я обедал с Беллом в Линнеевском клубе, и мне понравился мой ужин ... ужин вне дома - это для меня новинка, и мне это понравилось".[246] В более ранний период, когда у него было больше сил для подобных развлечений, он участвовал в них с искренним энтузиазмом и даже, по-видимому, с неподдельным бесшабашным азартом. Когда он обосновался в Кембридже после возвращения из путешествия на "Бигле", он жаловался, что единственная проблема заключалась в том, что жизнь была слишком приятной, и какая-нибудь приятная компания каждый вечер несколько затрудняла утреннюю работу.[247] А о разнообразных общественных мероприятиях еще более ранних дней он пишет: 'Мы часто ужинали вместе по вечерам, хотя на этих ужинах часто присутствовали люди более высокого ранга, и мы иногда слишком много выпивали, а потом весело пели и играли в карты. Я знаю, что мне должно быть стыдно за проведенные таким образом дни и вечера, но поскольку некоторые из моих друзей были очень приятными, и все мы были в прекрасном расположении духа, я не могу не оглядываться на те времена с большим удовольствием".[248]

В вопросах спорта и развлечений вкусы Дарвина, по-видимому, тяготели скорее к тем, которые по своей природе не являются социальными, хотя его привлекал характер самих видов спорта, а не элемент одиночества. В юности он страстно увлекался спортом на свежем воздухе, рыбалкой и охотой. По его словам, он очень любил рыбалку и мог часами сидеть, наблюдая, как черви плавают в каком-нибудь уединенном водоеме или ручье, хотя, когда кто-то сказал ему, что он может убивать червей с солью и водой, вместо того чтобы насаживать их на крючок, это принесло ему большое облегчение.[249] Он особенно усердствовал с ружьем, и задолго до того, как проявил малейший интерес к научному изучению птиц, ему нравилось убивать их. Он рассказывает нам, что убийство его первого бекаса так взволновало его, что он дрожал до такой степени, что ему было трудно перезаряжать ружье. Даже после того, как его научный интерес начал развиваться, он отбросил все его остатки в сезон охоты: "в то время я считал бы себя сумасшедшим, если бы отказался от первых дней охоты на куропаток ради геологии или любой другой науки".[250]

Он стал отличным стрелком и, по словам его сына, всю свою жизнь обладал замечательной способностью координировать свои движения, так что был не только точен в обращении с ружьем, но и в метании, а когда стал взрослым мужчиной, просто чтобы проверить свое мастерство, он бросил шарик в крестоклюва и убил его: "Он был так недоволен тем, что бесполезно убил крестоклюва, что годами не упоминал об этом, а затем объяснил, что никогда не стал бы бросать в него, если бы не был уверен, что его прежнее умение покинуло его". [251] Возможно, самым ярким свидетельством глубины страсти Дарвина к этим видам спорта на природе является необычайно резкое замечание его отца, который любил своего сына и был им глубоко любим: "Тебя не интересует ничего, кроме стрельбы, собак и ловли крыс, и ты опозоришь себя и всю свою семью". [252] Это не первый и не последний случай несовершенного предвидения со стороны отца.

Что касается игр, которые по своей сути являются социальными, то нет никаких указаний на то, что Дарвин был ярким практиком. Когда он был в школе, он играл в "batfives", [253] но там нет упоминания о футболе или крикете. Описывая свои личные пристрастия в более поздние годы, он говорит о картах с некоторым презрением: "Не играл много лет, но уверен, что не запомнил". [254] Его тон по отношению к картам в 1842 году, однако, совершенно иной: "Эта прогулка была для меня чересчур утомительной, и я был скучен до виста, который мне нравился сверх всякой меры". [255] В 1859 году, в год "Зарождения", он установил бильярдный стол, "и я нахожу, что это приносит мне много пользы, а изгоняет ужасные виды из моей головы". [256] Но его особым удовольствием в игровой сфере были нарды, в которые он играл с миссис Дарвин год за годом, ведя счет победам и поражениям, получая удовольствие или притворяясь им, сильно радуясь своим неудачам и даже негодуя на удачу своего противника. В 1875 году он написал Эйсе Грею: 'Пожалуйста, передайте наши самые добрые воспоминания миссис Грей. Я знаю, что ей нравится слушать хвастовство мужчин, это их так освежает. Теперь счет с моей женой в нардах таков: она, бедняжка, выиграла всего 2490 партий, в то время как я выиграл, ура, ура, 2795 партий'. [257]

Но благодаря всему этому гуманность Дарвина проявляется повсюду. Он любил своих братьев, любил общаться с ними и чувствовать, что они заботятся о нем, и его интерес был гораздо глубже, чем простое, хотя и всепоглощающее любопытство к их животному происхождению.

## II

Недостатком общественной жизни Дарвина в том, что касалось его трудоспособности, были проблемы со здоровьем, и если мы хотим в полной мере оценить не только героизм его достижений, но и очарование его характера, мы должны понять, насколько велики и далеко идущие последствия имели эти ограничения. Природная сила и энергичность его крепкого телосложения сохранились в молодости и, в основном, во время плавания на "Бигле", несмотря на постоянную морскую болезнь; но вскоре после его возвращения в Англию его жизнь стала ничем иным, как более или менее облегченным хроническим инвалидизмом различной формы.

Влияние этого на его научные труды я указывал ранее. Это мешало им на каждом шагу. Он мог работать всего несколько часов утром, а после этого постоянные усилия и урок заключались в стремлении забыться; "Это так утомительно - убивать весь день после 12 часов, вообще ничего не делая". [258] Часть исследования, которая требовала, возможно, самой приятной и постоянной бдительности, пришлось прервать на середине, потому что повторяющиеся и

усиливающиеся симптомы абсолютно требовали полного отдыха. Необходимо было не только перестать работать, но и перестать думать, а для мозга, такого жадного и поглощенного работой, каким был мозг Дарвина, это было чрезвычайно трудно.

В социальной жизни ограничение было столь же досадным. Верно, что в таком положении вещей есть определенные преимущества. Ожидается, что успешный и выдающийся мужчина, обладающий здоровьем, будет соответствовать всевозможным социальным требованиям и нагрузкам, которые отнимают у него мало времени, и если он не будет предельно осторожен с самим собой и иногда не будет настаивать даже на грубости, он обнаружит, что его работе мешают почти так же сильно, как плохое самочувствие, а может быть, и больше. Есть много случаев, когда хрупкое здоровье является удобным и полезным оправданием, и Дарвин прекрасно осознавал это: "Даже плохое самочувствие, хотя оно и отняло несколько лет моей жизни, спасло меня от отвлекающих факторов общества и развлечений".[259]

Но компенсация не всегда была оценена по достоинству. Когда несварение желудка спасало вас от скуки, вы могли быть благодарны; но когда оно лишало вас возможности видаться с вашими лучшими друзьями, когда оно лишало вас того обмена научными идеями, который является самым острым и плодотворным стимулом для достижений, тогда вы не могли не пожаловаться немного. Волнение, энтузиазм оживленного разговора заставили вас на время забыть о себе и своих симптомах. Но потом произошло неизбежное, и постепенно вы поняли, что сдержанность необходима. "Даже разговоры о вечере менее чем на два часа дважды за последнее время вызывали такую сильную рвоту и дрожь, что я боюсь приезжать в Лондон".[260] Простые комментарии, подобные этому, часто повторяемые, показывают, насколько сильной была слабость.

Что примечательно в этом вопросе о плохом здоровье Дарвина, так это то, что он не вызвал горечи. Время от времени раздается вздох сожаления, легкая юмористическая жалоба на лишения и неспособность достичь всего желаемого: "Прощай, моя дорогая Проститутка; будь мудрой и доброй и береги свой желудок, в котором, как я прекрасно знаю, находятся интеллект, совесть, характер и привязанности".[261] Но в нем нет ни малейшего следа того кислого пессимизма, этого раздраженного протеста против распоряжений Провидения и вселенной, которые так склонны порождать хронические инвалиды.

Когда мы начинаем искать причину проблем Дарвина, становится очевидным, что на таком расстоянии во времени мы едва ли можем получить достаточно ясное описание симптомов и состояний, чтобы строить догадки с большой определенностью, хотя расширенные медицинские знания наших дней могли бы объяснить вопросы, которые тогда были неясны. Иногда возникала склонность приписывать все повторяющиеся несчастья последующих лет морской болезни Бигля. Но сам Дарвин отверг это объяснение, и его сын указывает, что хроническая болезнь проявилась лишь постепенно, через несколько лет после его возвращения.[262] Дарвин считал, что его плохое здоровье было вызвано "наследственным недостатком, который проявился в виде подагры у некоторых прошлых поколений".[263] Специалисты того времени были в полном недоумении. "Здесь был доктор Бринтон, - говорит Дарвин. - он не верит, что мой мозг или сердце поражены в первую очередь, но я так упорно спускался с холма, что не могу не сомневаться, смогу ли я когда-нибудь снова проползти немного в гору".[264] Забавно наблюдать, как более поздние спекулянты упражняли свое остроумие в этом деле. Доктор Джордж М. Гулд в своих блестящих 'Биографических клиниках'

поместил Дарвина в один ряд с Хаксли, Теннисоном, Браунингом и дюжиной других как жертву перенапряжения глаз и полагал, что от всех его проблем можно было избавиться с помощью очков с надлежащим преломлением. С развитием железистых теорий секреция щитовидной железы, гипофиза и надпочечников Дарвина была признана чрезмерной или недостаточной. С его телосложением он, несомненно, был бы многообещающим объектом для экспериментов ортопеда, в то время как диетолог прописал бы неограниченное количество шпината и моркови, остеопат обнаружил бы катастрофические подвывихи в позвоночнике, а психоаналитик увидел бы основу всей проблемы в неупорядоченных комплексах. И у всех них было бы какое-то симптоматическое оправдание, и все они были бы полны желания поработать над беднягой, как они работали над многими другими такими же, с горами ожиданий, обещаний и затрат, и слишком часто с жалким результатом.

К счастью или к несчастью, во времена Дарвина этот специалист не был столь безудержным, и хотя более поздние научные разработки могли вылечить его, а могли и не вылечить, он избежал значительной части невыгодного дискомфорта. Лечение водой было модно в то время, и он должным образом прошел через это, с некоторым раздражением и, возможно, с небольшим улучшением: 'Один из самых необычных эффектов лечения заключается в том, что оно вызывает у большинства людей, и особенно в моем случае, самый полный застой ума. Я перестал думать даже о ракушках'.[\[265\]](#)

Но в ожидании открытия какого-нибудь чудесного лекарства единственная помощь, казалось, заключалась в постоянном уходе, самоконтроле и дисциплине. Необходимо было соблюдать осторожность в еде, и здесь Дарвин, по-видимому, был в целом воздержан, хотя у него было пристрастие к сладостям, которым он иногда потворствовал, юмористически оправдываясь и ясно предвидя плохие результаты, которые, вероятно, последуют, что он и делал. Что касается алкоголя, то даже в ранние годы, когда буйное пьянство было достаточно распространенным явлением, Дарвин не был сильно склонен ни к чему подобному. Он действительно рассказывает о веселых званых ужинах, на которых было выпито слишком много вина. Его сын записывает свое признание в ответ на вопрос о ранних привычках, что "ему было стыдно признаться, что когда-то он слишком много пил в Кембридже".[\[266\]](#) А Грант Дафф упоминает любопытное замечание, которое кажется достоверным, но в которое трудно поверить: "Хукер, который остановился здесь, позабавил нас, сказав, что Дарвин сказал ему, что в молодости он напивался три раза и считал опьянение величайшим из всех удовольствий".[\[267\]](#) Так он думал или нет, но он не часто предавался этому. И когда он стал старше, он почти полностью отказался от вина, так что, когда она была помолвлена, его будущая жена могла написать: "Я не думаю, что то, что Чарльз не пьет вина, имеет такое же значение, как и она, но я думаю, что это приятно".[\[268\]](#) Он курил сигареты больше или меньше и находил их успокаивающими, но он, конечно, не переусердствовал с этой привычкой. Его любимым занятием было нюхание табака, от которого он отказался и возобновил его во многом по образцу табака Lamb. О своих усилиях в этом направлении он пишет с юмором: "Лично я также нахожусь в состоянии крайнего замешательства, поскольку моя жестокая жена убедила меня отказаться от нюхательного табака на месяц; и, как следствие, я в высшей степени вялый, глупый и меланхоличный".[\[269\]](#)

Однако главным элементом заботы Дарвина о своем здоровье был постоянный отдых. Все его дни были систематически спланированы, те несколько часов, которые можно было уделить этому, были выделены для работы, а остальное посвящалось какой-либо форме расслабления или необходимому отдыху. Были долгие ночи, если не для сна, то, по крайней мере, для

физического успокоения, а были дни и вечера, проведенные в основном на диване, в болтовне, слушании музыки или историй чисто развлекательного характера. Любого нарушения этого тщательно составленного графика старались избегать, по возможности, и почти всегда за это приходилось платить. Таким образом, благодаря постоянному, систематическому, жесткому самоконтролю и жертвуя днями, месяцами и годами сравнительно утомительной лени, Дарвин получил несколько часов, необходимых для работы, которая потрясла мир.

В одном отношении ему чрезвычайно повезло. Если ему и мешало плохое самочувствие, у него, по крайней мере, было достаточно средств, чтобы сделать это плохое самочувствие как можно более терпимым. Он не знал, каково это - содержать себя и свою семью и быть физически неспособным это делать. Не вполне одобряя саркастическое замечание Батлера: 'Худшее, что может случиться с человеком, - это потерять свои деньги, на следующий день здоровье и на третий репутацию', - можно увидеть в этом долю правды, особенно когда обладание деньгами помогает сделать потерю здоровья более переносимой. Отец Дарвина был очень успешным в финансовом отношении. Он обеспечивал всех своих детей самым щедрым образом в течение своей жизни и оставил их в комфортных условиях после своей смерти, и Дарвин часто относится к этому с благодарностью и признательностью. У сына, по-видимому, были достаточные средства, чтобы содержать солидное заведение, давать образование и обеспечивать свою собственную большую семью, заниматься общей благотворительностью и делать если не все, что он хотел, то, по крайней мере, многое в области научных исследований и экспериментов.

В последующие годы значительный доход от опубликованных книг, естественно, добавился к тому, что было унаследовано. Дарвин гордился своим заработком таким образом, и у него были на то основания, хотя вряд ли он мог похвастаться такими доходами, какие получал его современник Троллоп. Однако наибольшее впечатление на человека производит его крайняя забота о том, чтобы с другими обращались справедливо и чтобы никто не пострадал из-за его выгод. Поэтому он пишет своему издателю тоном, который, я думаю, издатели сочтут необычным: 'Вы действительно слишком щедры в отношении, на мой взгляд, возмутительно тяжелых исправлений. Справедливо ли вы поступаете по отношению к себе? Не лучше ли было бы, по крайней мере, поделиться 72 8 фунтами стерлингов? Я буду полностью удовлетворен, поскольку у меня не было права отправлять, хотя и совершенно непреднамеренно и неожиданно, в типографию такие плохо составленные рукописи'.[\[270\]](#)

Одним из последствий слабого здоровья Дарвина было то, что он более или менее беспокоился о деньгах. Когда вы можете рассчитывать на свою физическую силу в борьбе с обстоятельствами, вы можете радостно выплывать в мир и позволять своей повседневной поддержке приходить туда, где вы можете ее получить. Но если вы слабы, искалечены и вам мешают, если вы абсолютно зависимы от удобств, которыми другие просто наслаждаются, но могут обходиться без которых, вы с ужасом смотрите на возможность потерять то, что единственное гарантирует вам незаменимость. Дарвин не был полностью свободен от этого чувства, и его сын говорит нам, что его преследовал страх, что у его детей не хватит здоровья, чтобы самим зарабатывать себе на жизнь, но, возможно, им придется это делать.[\[271\]](#) Вследствие этого он всегда был вдумчивым и осторожным в денежных вопросах. Он следил за своими инвестициями с проницательностью и уважал способность делать деньги и сохранять их. Он не гнушался откладывать ни пенни там, где это можно было сделать, и особенно он был

точен и систематичен в своих расходах. Его биограф говорит, что 'он вел счета с большой тщательностью, классифицируя их и подводя итоги в конце года, как торговец. Я помню, как быстро он доставал свою бухгалтерскую книгу, чтобы занести каждый оплаченный чек, как будто спешил внести его, пока не забыл'.<sup>[272]</sup> Интересным противоречием этой финансовой аккуратности и обычным привычкам Дарвина к аккуратности является его закоренелая небрежность в том, что он не датировал или не полностью датировал свои письма.

Финансовая аккуратность и беспокойство ни на минуту не означают, что он не был либеральным и щедрым в высшей степени, поскольку, возможно, самая мудрая и даже самая большая щедрость приходит с такой предусмотрительностью. Он свободно тратил средства на свое нынешнее существование и был особенно внимателен не только в том, что касалось пожертвований своей семье, но и в манере жертвовать, которая иногда, кажется, имеет еще большее значение. Его сын говорит о его вдумчивой доброте в решении финансовых вопросов и подчеркивает его щедрость в выплате долгов колледжа, "из-за чего с моей стороны было почти добродетелью рассказать ему о них".<sup>[273]</sup> Щедрость не ограничивалась только его семьей. Она была широкой и яркой в своем действии, и постоянно упоминаются причины, которым Дарвин посылал свой чек, без хвастовства, но с искренним желанием творить добро. Из-за ограниченности сил ему было трудно передвигаться в основном по родному району, но бедняки знали его и любили, и он был готов и рад помочь им, когда это было возможно. Как говорит Брайс, "он был добрым и отзывчивым соседом для скромных людей, которые жили вокруг него в Дауне".<sup>[274]</sup> Особенно он был рад отдавать не только свое время и свои ограниченные силы, но и свои деньги на помощь тем, кто занимался научной работой любого рода. И вкратце, в связи с этой всеобщей добротой стоит отметить замечание набожной пожилой женщины, которой сказали, что Дарвин попадет в ад за свои порочные доктрины, и которая ответила: "Всемогущий Бог не может позволить себе обойтись без такого хорошего человека".<sup>[194]</sup>

### III

Естественным следствием инвалидности было то, что социальные привычки и склонности Дарвина бросались в глаза в домашнем кругу. Кажется, он был добр и внимателен ко всем в доме, и слуги любили его, хотя иногда они были озадачены его занятиями, как, например, когда садовник заметил, что, по его мнению, мистеру Дарвину было бы лучше, если бы у него было больше работы. Он очень редко выходил из себя по отношению к тем, кто на него работал, и он боялся необходимости кого-либо ругать, потому что знал, что может сказать больше, чем имеет в виду.<sup>[195]</sup> Его сын рассказывает нам: "когда я подслушал, как ругали слугу и как сердито говорил мой отец, это произвело на меня впечатление ужасающего обстоятельства".<sup>[196]</sup> В целом его манеры были вежливыми и примирительными, и он выглядел скорее так, словно просил об одолжении, чем отдавал приказ. Когда в самые последние дни его одолела болезнь, он отказался позволить соседскому дворецкому вызвать такси или проводить его домой, поскольку не хотел доставлять столько хлопот.

Чрезвычайную любовь Дарвина ко всем домашним животным я уже отмечал негативно, когда говорил о его неприязни к жестокости и жестокому обращению, но эта любовь всегда была положительной и проявлялась в постоянном интересе, внимании и заботе. Один пример греха, о котором очень сожалели в этом отношении, забавно описан в Автобиографическом очерке: 'Однажды, когда я был совсем маленьким мальчиком, учась в дневной школе, или еще раньше, я поступил жестоко, потому что избил щенка, я полагаю, просто из наслаждения ощущением

власти; но избиение не могло быть жестоким, потому что щенок не выл, в чем я уверен, поскольку место было недалеко от дома. Этот поступок тяжким грузом лежал на моей совести, о чем свидетельствует то, что я помню точное место, где было совершено преступление".[107] Но преступление не повторилось в дальнейшей жизни. Даже к голубям, которых он разводил в целях научных исследований, Дарвин сильно привязался: "Я люблю их до такой степени, - говорит он, - что мне невыносимо убивать и делать из них скелеты".[108] Его собаки всегда вызывали у него интерес, восхищение и сильную привязанность. И собаки всех видов, казалось, тянулись к нему. В молодости питомцы его сестры следовали за ним, а не за ней, и с собакой друга из Кембриджа было то же самое. Собаки были не только предметом его тщательных наблюдений для изучения экспрессии, они были его спутниками на ежедневных прогулках и близкими друзьями.

Ко всем членам своей семьи привязанность Дарвина была глубокой, прочной и продолжительной. Нежность, с которой он относился к памяти своего отца, кажется мне несколько необычной: "Я не думаю, что кто-то мог любить отца намного больше, чем я любил своего, и я не верю, что когда-либо проходило три или четыре дня, чтобы я все еще не думал о нем".[109] Нежность особенно заметна в длинном очерке характера его отца, который гораздо менее богат критическими замечаниями, чем можно было бы ожидать от природной склонности Дарвина к анализу, и всегда, когда дело касалось его привязанности, анализ, казалось, несколько приостанавливался. Его упоминания о своих братьях и сестрах также с простой серьезностью показывают, как много они значили в его жизни.



### ЭММА ДАРВИН В ТРИДЦАТЬ ОДИН

Естественно, самой заметной фигурой в домашнем кругу является миссис Дарвин, и глубина и долговечность привязанности Дарвина к ней повсюду очевидны. Нет никаких записей или намеков на какую-либо более раннюю привязанность или любовный роман. Весьма вероятно, что таковые были, но ни Дарвин, ни его биографы не дают о них ни малейшего намека. Мы видели, что в романах ему нравились хорошенькие женщины, и иногда в своих книгах он упоминает о женской привлекательности. Его дочь рассказывает нам, что "Он часто был влюблен в героинь многих романов, которые ему читали, и всегда утверждал как в книгах, так и в

реальной жизни, что нотка жеманства необходима для придания очарования красивой женщине".[110] Дочери трудно понять, что это значит, поскольку ее отец испытывал такой ужас перед жеманством в целом. Во всяком случае, мне кажется, это означает, что он не относился к занятиям любовью очень серьезно, и, конечно, нет никаких признаков того, что это когда-либо сильно нарушало его жизнь.

Даже когда он был помолвлен, его любовь к Эмме Веджвуд, похоже, не была такой жгучей. Его письма к ней, которые были напечатаны, нежны, внимательны и полны сочувствия: в них нет ни одной из тех мук, к которым склонны сомневающиеся в себе, подстегивающие себя и пылко ликующие страсти. В самом привлекательном из них он пишет: 'Извините за такой большой эгоизм — я дарю его вам, потому что думаю, вы очеловечите меня и вскоре научите, что есть большее счастье, чем построение теорий и накопление фактов в тишине и одиночестве. Моя дорогая Эмма, я искренне молюсь, чтобы ты никогда не пожалела о великом и, добавлю, очень хорошем поступке, который тебе предстоит совершить во вторник".[111] И он игриво добавляет: "Я хочу попрактиковаться в жестоком обращении с женским полом - я не заметил, чтобы Лайелл испытывал какие—либо угрызения совести; Я надеюсь со временем ожесточить свою совесть: немногим мужьям, кажется, трудно это осуществить".[112] Все правильно и так, как должно быть. Но тон отличается от тона некоторых любовных писем, которые я видел, и это тем более примечательно, учитывая необычайную откровенность и прямоту переписки Дарвина в целом.

Но если супружеская привязанность Дарвина началась не с насилия и неистовой страсти, то она продолжалась, углублялась и укреплялась широким солнечным изобилием до конца его жизни. И это было столь же верно, хотя миссис Дарвин не испытывала особой привязанности к его научным занятиям. Я уже говорил в другом месте, что она помогала ему, и в его работе, как и во всем остальном, она стремилась выполнять свой супружеский долг и помогать, где могла. Но у нее не было любви к работе как таковой, и ее дочь замечает, что, хотя вначале она решила подражать вкусам своего мужа, ей показалось это невозможным. "Он рассказывал, как во время какой-то лекции в Британской ассоциации он сказал ей: "Боюсь, это очень утомительно для вас", на что она спокойно ответила: "Не больше, чем все остальное"", -[113] И в письме Лаббоку он мягко высмеивает ее безразличие: 'Конечно, вы опубликуете отчет о [вашем открытии]. Затем вы скажете, может ли насекомое хорошо летать по воздуху. Моя жена спросила: "Как он обнаружил, что оно пробыло четыре часа под водой без дыхания?" Я ответил сразу: "Миссис Лаббок просидела четыре часа, наблюдая". Интересно, прав ли я".[114]

Но Дарвин не требовал, чтобы женщина, которую он любил, разделяла весь его профессиональный пыл. Он любил ее и за другие качества, которые находил в ней достаточными и неистощимыми, за ее терпение, ее вдумчивость, ее быстрое и живое сочувствие и понимание, а также за общее очарование ее характера. В отрывке из своей Автобиографии, опубликованной только после смерти миссис Дарвин, он сказал о ней: 'Она была моим величайшим благословением.... Я не верю, что она когда-либо упускала возможность совершить добрый поступок по отношению к кому-либо из своих близких. Я поражаюсь своей удаче, что она, столь бесконечно превосходящая меня по всем моральным качествам, согласилась стать моей женой".[115] И в пылу безудержной привязанности он добавляет хвалебную речь, которую, возможно, не смог бы справедливо написать никто ни от кого: "Я могу заявить, что за всю свою жизнь я ни разу не слышал, чтобы она произнесла ни одного слова, которое я предпочел бы оставить невысказанным".[116]

Постоянное плохое самочувствие Дарвина придавало особое качество интимной зависимости его отношениям с той, чья забота сделала все возможное, чтобы сделать его плохое самочувствие терпимым, и сын Дарвина убедительно свидетельствует о неизменной преданности, вдумчивости и эффективности этой заботы. "За все последние годы его жизни она не оставляла его ни на ночь; и ее дни были так спланированы, что все часы его отдыха могли быть разделены с ней".<sup>[117]</sup> Только те, кто знал ситуацию, могут в полной мере оценить сдержанность и стеснение, связанные с такой хронической инвалидностью, не только для того, кто вынашивает, но, возможно, еще больше для того, кто должен наблюдать, и сочувствовать, и защищать, и ограждать, и, насколько это возможно, ограждать от давления и напряжения многолюдного, шумного, светливого, безразличного мира.

Это правда, что миссис Дарвин была избавлена от некоторых наиболее тяжелых элементов такого инвалидизма. Оно слишком часто влечет за собой нетерпение, раздражительность, дурной характер, жалобы или, во всяком случае, угрюмую депрессию, которая отказывается быть утешенной или рассеянной. Мы видели, что Дарвин признавался в некоторой вспыльчивости характера в молодости, но, по-видимому, никаких признаков этого не было обнаружено в годы болезни. Он был не только нежен и внимателен, он почти всегда был жизнерадостен, даже весел, и ему нравилось чувствовать вокруг себя любовь, жизнерадостность и веселость. Как очаровательно выразилась миссис Дарвин: "Для меня большое счастье, когда Чарльзу очень плохо, что он остается таким же общительным, как всегда, и не похож на остальных Дарвинов, которые не говорят, какие они на самом деле; но он всегда говорит мне, что чувствует, и никогда не хочет оставаться один, но остается таким же тепло-нежным, как всегда, так что я чувствую, что я для него утешение".<sup>[118]</sup> Также нет никаких признаков растущего эгоизма. Инвалид должен в какой-то мере защищать себя, он должен предъявлять определенные требования, и во многих случаях эти необходимые требования имеют тенденцию перерастать в невнимательные и болезненно захватывающие. Похоже, с Дарвином было иначе. Он думал о других прежде, чем о себе, и старался отодвинуть свои собственные потребности и неудобства на задний план, насколько это было возможно.

Тем не менее, он был инвалидом, а его жена была здоровой и энергичной, и могла бы широко и свободно общаться с миром, и, несомненно, наслаждалась бы этим. Вместо этого она отдала ему свою жизнь, и он в полной мере оценил красоту и постоянство ее преданности. Как говорит его сын: "В ее присутствии он обрел свое счастье, и благодаря ей его жизнь, которая, возможно, была омрачена мраком, стала жизнью довольства и тихой радости".<sup>[119]</sup> Но я думаю, что больше всего ощущаю человеческую глубину обрывочных записей, которые сделала сама миссис Дарвин, записывая самые последние часы и слова жизни своего мужа: "Я запишу его слова только потом — "Я нисколько не боюсь смерти". "Помните, какой хорошей женой вы были для меня". "Скажите всем моим детям, чтобы они помнили, как они были добры ко мне". После самого сильного горя он сказал: "Мне было так жаль тебя, но я ничем не мог тебе помочь". Затем: "Я рад этому", когда мне сказали, что я лежу. " Не звони ей, она мне не нужна. Часто говорил: "Быть больным почти того стоит, чтобы за тобой ухаживали"".<sup>[120]</sup>

В отношениях со своими детьми Дарвин столь же обаятелен, как и со своей женой. У него было огромное семейство, всего десять мальчиков и девочек. Его привычки вести домашнее хозяйство привели его к тесному контакту с ними, и он любил их, а они любили его. Это правда, что он ценит конфликт семейных забот с единым всепоглощающим стремлением к жизни, ценит это и заявляет об этом с почти трагической силой и сжатостью: 'Дети - величайшее счастье

человека, но часто и еще чаще - еще большее несчастье. У человека науки не должно быть никого — возможно, даже жены; ибо тогда в этом огромном мире не было бы ничего, о чем стоило бы заботиться, и мужчина мог бы (мог ли бы - другой вопрос) вкалывать, как троянец".[121] С чем интересно сравнить аналогичную жалобу не менее преданного отца Томаса Мура: "Мое беспокойство об этих детях почти лишает меня всякого удовольствия от них".[122]

Но беспокойство возникло просто от избытка мыслей, заботы и нежности, и, несомненно, мало кто из отцов был более предан делу, чем Дарвин. Нет никаких признаков того, что он был суров или непреклонен в воспитании. Его сын говорит, что за всю свою жизнь он не сказал ни одного сердитого слова ни одному из своих детей. И все же ему каким-то образом удалось добиться того, чего он хотел: "Я уверен, что нам и в голову не приходило послушаться его".[123] Легкость и товарищество, с которыми он работал, проявляются в одном анекдоте, рассказанном Фрэнсисом: "Он вошел в гостиную и увидел Леонарда танцующим на диване, что было запрещено из-за пружин, и сказал: "О, Ленни, Ленни, это против всех правил", - и получил в ответ: "Тогда, я думаю, тебе лучше выйти из комнаты".[124] Но я не думаю, что Леонард больше танцевал.

Основой любой дисциплины были сочувствие и понимание, точно так же, как они были основой отношений Дарвина со своими коллегами-учеными; и в своем уважении к личности и индивидуальности своих детей он, по-видимому, предвосхитил идеи более поздней эпохи. Его дочь говорит: "Еще одной характерной чертой его обращения со своими детьми было уважение к их свободе и к их личности.... Наши отец и мать даже не захотели бы знать, что мы делаем или думаем, если бы мы сами не захотели рассказать. Он всегда заставлял нас чувствовать, что каждый из нас - существа, чьи мнения и мысли были ценны для него, так что все лучшее, что было в нас, проявлялось в лучах его присутствия".[125]

Мы уже видели, какую заботу Дарвин всегда проявлял о денежном комфорте своих детей. Во всех их делах присутствовала одинаковая забота об их образовании, поведении и особенно об их перспективах, занятиях в жизни. Он всегда был готов дать совет, когда в нем нуждались. Но он не вторгался в них чрезмерно и, прежде всего, не настаивал на их принятии и не настаивал на том, чтобы его мнение и максимы стали правилом процедуры. Как замечательно характерно его высказывание о том, что "он надеялся, что никто из его сыновей никогда ничему не поверит из-за того, что он это сказал, если только они сами не будут убеждены в правдивости этого".[126]

Мне кажется, просто восхитительно сознавать, что при всем этом интересе и привязанности Дарвин постоянно использовал своих детей, как использовал себя и всех остальных, в качестве материала для абстрактных научных наблюдений, которые были главным интересом его жизни. "Мой первый ребенок родился 27 декабря 1839 года, - рассказывает он нам, - и я сразу же на заре начал записывать различные выражения, которые он демонстрировал".[217] Многие ли отцы сделали бы то же самое? И постоянное, бдительное наблюдение продолжалось все время.

Но это ни в малейшей степени не мешало обильной, переполняющей, сочувственной привязанности. И привязанность не была отстраненной, из тех, которые обожают, но не могут войти внутрь. Его сын действительно указывает, что состояние здоровья не позволяло его отцу возиться с детьми или принимать участие в каких-либо грубых играх. Но он, насколько мог, с жадным интересом и острым удовольствием разделял их игры и давал им почувствовать, что он

один из них и как они сами. Когда все они уезжали в отпуск, он приступал к нему с юношеским энтузиазмом, который усиливал всеобщий энтузиазм. Ему нравилось, когда дети были рядом, даже если они мешали ему работать, что они слишком часто делали; такое их множество в доме вполне могло бы помешать. Особенно когда они были больны, его сочувственная забота и бдительность действовали успокаивающе. Его дочь цитирует одного из его двоюродных братьев в качестве свидетеля, что "в нашем доме единственным местом, где вы могли быть уверены, что не встретите ребенка, была детская. Много раз, даже в рабочее время моего отца, больной ребенок укладывался на его диван, чтобы побыть в тишине и безопасности, и его присутствие успокаивало".[218]

Страх перед болезнью и смертью детей временами преследовал и угнетал его. Так он пишет Хукеру.: "До самой своей смерти я никогда не забуду весь этот тошнотворный страх за других детей после того, как умерла наша бедная малышка".[219] И глубина его горя после потери маленькой дочери Энни тихо, но глубоко проявляется в письмах, написанных в то время.

Шли годы, и отношение Дарвина к своим детям достигло апогея товарищества, выразившегося в постоянной помощи, которую они оказывали ему в работе. Его дочь помогала ему в духовном плане, а сыновья, у которых были собственные научные интересы, активно и с наибольшей пользой участвовали в его трудах. Иногда он пользовался их острым умом, чтобы отточить и разъяснить свой: "Двое из моих взрослых детей, умеющих хорошо рассуждать, два или три раза с интервалом пытались доказать, что я неправ; и когда пришло ваше письмо, они предприняли еще одну попытку, но в конце концов вернулись на мою сторону".[220] Каким бы ни был характер помощи, Дарвин всегда был глубоко благодарен за это, и его дети особенно отзываются о простой, скромной форме, в которой была выражена его благодарность. Было приятно помочь ему любым способом, потому что вы были уверены, что эта помощь будет использована так, как вы задумали, и будет высоко оценена.

И вообще, я не уверен, что красоту отношения Дарвина к своим детям можно выразить лучше, чем словами его сына, одинаково уважающего и сына, и отца: 'Я не думаю, что его преувеличенное представление о наших хороших качествах, интеллектуальных или моральных, сделало нас тщеславными, как, возможно, можно было ожидать, скорее, мы стали более смиренными и благодарными ему. Причина, без сомнения, в том, что влияние его характера, его искренности и величия натуры имело гораздо более глубокий и длительный эффект, чем любая небольшая экзальтация, которую его похвалы или восхищение могли вызвать у нашего тщеславия'.[221]

## IV

Хотя общественная активность Дарвина была неизбежно ограничена его плохим здоровьем, его преданность близким друзьям была такой же милой и заметной, как и его преданность своей семье. Действительно, дружба, естественное обращение к сочувствующим духам и привязанность к ним с постоянной преданностью, по-видимому, были в нем особенно глубоким и мощным инстинктом. Он проявлял глубокий интерес ко всем делам своих друзей и с интимной и привлекательной экспансивностью излагал им все свои интересы. В письме о своем деде он говорит: "Пожалуй, нет более надежного испытания настоящего характера человека, чем его длительная дружба с хорошими и способными людьми".[222] Несомненно, если испытание применяется к нему самому, он переносит его благородно.

О своем стремлении к дружбе и большой склонности к ней в детстве он отзывался очень положительно: "У меня было много друзей среди школьников, которых я нежно любил, и я думаю, что тогда мой характер был очень нежным".[223] Его сын говорит, что дружба зрелой жизни не отличалась таким пылом и страстью, как в юности; но сын справедливо добавляет, что никто из тех, кто читает письма его отца, не может почувствовать, что его более поздним привязанностям не хватало интенсивности или глубины.[224]

Не может быть никаких сомнений в том, что влияние Дарвина на своих друзей было очень велико, вероятно, тем более, что он был таким сдержанным и не склонным вмешиваться или диктовать. Говорят, что сэр Джон Лаббок "был в еще большем долгу перед великим Чарльзом Дарвином в отношении формирования характера, чем в поощрении и направлении своих умственных способностей".[225] Дарвин, не колеблясь, давал срочные и теплые советы там, где, по его мнению, они были необходимы. Например, он пишет Хукеру о своем здоровье: 'Примите мое предупреждение и не работайте слишком усердно. Ради Бога, подумайте об этом'.[226] Он не колебался не соглашаться, или задавать вопросы, или спорить, когда считал, что его друзья неправы, и он мог их исправить.

В то же время, благодаря его скромности и естественной самоуничижительности, главное впечатление, которое вы получаете от интимной личной переписки, - это обращение к друзьям за советом, ободрением и поддержкой. Не то чтобы он не был достаточно способен и готов стоять на собственных ногах; но развитие своих взглядов и аргументов перед другими, казалось, проясняло их и придавало им дополнительную силу и значимость для него самого: "Я больше не буду писать, что является моим великим достоинством; ибо для меня огромное удовольствие рассказывать вам обо всем, что я делаю".[227] Честь, похвала, признание, когда они исходили от публики, были очень хороши; но их ценность и очарование удваивались, когда они исходили от тех, кого любишь. Так, он пишет по поводу письма Хукера, поздравляющего его с получением медали: "Затем я открыл ваше, и таков эффект теплоты, дружбы и доброты от того, кого любят, что тот же самый факт, рассказанный так, как его рассказали вы, заставил меня светиться от удовольствия, пока само мое сердце не забилося сильнее".[228] Я уже упоминал о его выражениях благодарности и признательности за всю поддержку и помощь, которые ему оказывали его друзья; но выражение такое нежное, такое постоянное и такое глубоко характерное, что оно не может быть передано другим людям. на слишком большом требовании.

Привязанность Дарвина к своим друзьям была не лишена практической стороны не больше, чем сентиментальной. Он был готов отдать свое время и свои силы на их служение, хотя время было так ограничено, а сила так необходима и так существенна. Когда полная прострация делает помощь невозможной, он горько упрекает себя и ревностно предлагает восполнить недостаток. Например, когда он пишет Хукеру: 'Я пишу сейчас, чтобы сказать, что меня мучает совесть из-за того, что я не решился просмотреть ваши корректуры, но я чувствовал себя ужасно нездоровым и разбитым, когда писал. Я не думаю, что от меня могла бы быть хоть какая-то польза, но если бы я могла, пожалуйста, пришлите мне какие-нибудь доказательства. Я был бы (и, боюсь, был) самым неблагодарным человеком, если бы колебался сделать что-либо для вас после пятнадцати или более лет вашей помощи'.[229] Или, в более незначительных случаях, жертве придается юмористический оттенок, как в случае, когда Дарвин навещает своего старого друга Седжвика и без протеста позволяет показать себя в Музее, хотя потом долгое время страдает из-за этого усилия: "Разве это не унижительно - быть таким образом убитым

восьмидесятишестилетним человеком, которому, очевидно, и в голову не приходило, что он убивает меня?" ?'[230]

И если не жалели времени и сил, столь жизненно важных и в общем-то скупно запасаемых, то легко представить, что денег не было. Ученые не всегда богаты, и их исследования требуют достаточных средств для их проведения. Ученые изматывают себя упорным трудом, а затем слишком часто испытывают трудности в поисках средств для восстановления сил. Дарвин всегда был бдительным, заинтересованным, готовым, щедрым и, что самое главное, ненавязчивым в удовлетворении этих потребностей. Если его ближайший друг и сторонник Хаксли сломался, Дарвин быстро возглавил подписку, чтобы сделать возможным выздоровление. Если он узнает, что его коллега в Германии, добившийся больших результатов с небольшими средствами, испытывает затруднения и смущение из-за отсутствия книг, он сразу же пишет: "Простите меня, но почему бы вам не заказать через вашего брата Германа книги и т.д. На сумму 100 фунтов стерлингов, и я бы отправил ему чек, как только узнал точную сумму? Это не доставило бы мне никаких неудобств; напротив, для меня было бы честью и непреходящим удовольствием помочь вам в вашей бесценной научной работе в такой малой и незначительной степени".[231]

Но чисто материальные отношения поддержки и содействия были незначительными по сравнению с глубокой привязанностью, которую Дарвин, казалось, специально рассчитывал передать и вдохновить. Нотка этой привязанности звучит во всей его переписке и придает ей более выигрышное качество, чем почти что-либо другое. Насколько глубоким и сильным было уважение к нему его друзей, прекрасно видно из отрывка, в котором Хаксли анализирует влияние этого отношения на свою работу и успех: 'Я снова не могу согласиться с вами, что на принятие взглядов Дарвина каким-либо образом повлияла сильная привязанность, которую питали к нему многие из его друзей. Что на самом деле сделала эта привязанность, так это побудила тех его друзей, которые видели веские основания для его взглядов, приложить гораздо больше усилий для его защиты и поддержки и нанести гораздо более сильный удар по его противнику, чем они сделали бы в противном случае. Это простительно, если не оправданно — то, что вы предлагаете, на мой взгляд, не было бы ни тем, ни другим".[232]

Что касается собственных чувств Дарвина, я не знаю ничего, что более ярко отражало бы их, если учесть его рвение к своей работе и успех в ней, чем отрывок, в котором он объявляет такой успех и все остальное мусором по сравнению с любовью: "Разговоры о славе, почестях, удовольствиях, богатстве - все это грязь по сравнению с привязанностью; и это доктрина, с которой, я знаю из вашего письма, вы согласитесь от всего сердца".[233] После чего, я думаю, мы можем сделать общий вывод, что немногие человеческие существа были более одарены любовью. чем Чарльз Дарвин с нежностью и сочувствием ко всему сотворенному".

## ГЛАВА VI

### ДАРВИН: РАЗРУШИТЕЛЬ

Я

При изучении влияния Дарвина и дарвинизма хорошо бы начать с четкого осознания грубых ортодоксальных религиозных концепций, которые преобладали среди основной массы человечества в Средние века и вплоть до девятнадцатого века, поскольку они все еще преобладают в той или иной форме среди значительной части населения Европы и Америки. Согласно этим представлениям, Вселенная была создана всемогущим, полностью антропоморфным Божеством. В этой вселенной земной шар занимал наиболее важное, если не центральное и стержневое положение. Земной шар был населен живыми существами, каждое из которых было создано Божеством в своей особой форме и роде, и все, как и вся существующая вселенная, подчинялось человеку, который один был наделен разумным интеллектом и нравственной природой. Одаренный таким образом, он был объектом особой заботы своего Создателя, который вмешивался в каждый аспект человеческой судьбы и чью благосклонность можно было заручиться, а его гнев смягчить молитвой и соответствием человеческого поведения божественным указам. Другими словами, земля была первичным объектом Вселенной, а человек был первичным объектом земли, а следовательно, и Вселенной тоже.

Рассуждения Коперника и последовавшее за ними развитие современной астрономии, показавшие, что Земля вовсе не центр Вселенной, а всего лишь незначительная и совершенно несущественная точка зрения в необъятном звездном пространстве, нанесли этому ортодоксальному взгляду сокрушительный удар. Если бы земля не имела никакого значения, как могло бы значение человека быть высшим? Теология, с ее удачным даром быстрой адаптации, сначала со всем своим рвением сражаясь с новой астрономией, в конце концов пришла к запоздалому принятию того, чему невозможно было сопротивляться, а затем путем огромных усилий разума гениально сумела примирить науку с ортодоксальными взглядами и вернуть человеку его превосходство. Но как раз в тот момент, когда это было счастливо и удовлетворительно достигнуто, появился Дарвин и разрушил человеческие различия и превосходство, а вместе с ними и древние представления о Божестве, даже более основательно, чем это сделал Коперник. Неудивительно, что теология, измученная предыдущей борьбой, временами была склонна заикнуться и отказаться от состязания.

Что нас интересует в первую очередь, так это отношение самого Дарвина к далеко идущим последствиям его теории. В предыдущей главе мы рассмотрели его религиозные взгляды в той мере, в какой они повлияли на него лично. Теперь нас интересует более широкий аспект их воздействия на человечество в целом.

Очевидно, что он с самого начала осознавал возможные последствия. Он достаточно близко соприкасался с ортодоксальным мировоззрением, чтобы оценить результаты его нарушения и более глубокие результаты нарушения фундаментальных принципов, на которых оно было основано. Тем не менее, он, похоже, не испытывал или, по крайней мере, его не преследовал ужас перед одинокой и покинутой Богом вселенной, который поражает некоторых из нас. Он был чувствителен к конкретным страхам: 'Тогда вы отдохнете, и я очень надеюсь, что некоторое затишье в тревоге и страхе наступит. Нет ничего более ужасного в этой жизни, чем страх; меня

до сих пор тошнит, когда я не могу не вспоминать некоторые из многих болезней, перенесенных нашими детьми".[154] Но его общий ментальный настрой был настолько здоровым и практичным, что его не слишком беспокоили отдаленные предчувствия и смутные духовные возможности. Таким образом, он был склонен оптимистично смотреть на механизм естественного отбора. Он верил, что в целом сумма счастья превышает сумму страданий для живых существ,[155] и он чувствовал, что неопределенный прогресс человека вполне совместим с выводами, к которым привело его научное исследование. Как он выражает это в книге "Происхождение человека": 'Верить в то, что человек был изначально цивилизованным, а затем подвергся полной деградации во многих регионах, - значит иметь прискорбно низкий взгляд на человеческую природу. По-видимому, более верной и жизнерадостной является точка зрения, что прогресс был гораздо более общим, чем регресс; что человек поднялся, хотя и медленными и прерывистыми шагами, из низменного состояния к высочайшему стандарту, которого он до сих пор достиг в знаниях, морали и религии".[156] Принимая во внимание эти неоспоримо оптимистичные взгляды Дарвина, забавно читать замечание Лайелла о том, что "его часто спрашивали, не был ли Дарвин одним из самых несчастных людей, предполагая, что его возмущение общественным мнением должно было наполнить его с раскаянием".[157]

В то же время Дарвин прекрасно осознавал, что его теории имели тенденцию разрушать ортодоксальный взгляд на человека, его превосходство и даже ортодоксального Бога. Абсолютная, простая постановка вопроса выражается в одной яркой фразе: "Какую книгу мог бы написать капеллан дьявола о неуклюжих, расточительных, неуклюжих, низких и ужасно жестоких творениях природы!"[158] Особенно Дарвин хорошо знал, какую яростную враждебность он должен вызывать у тех, кто вырос в ортодоксальной вере, был предан ей всей силой привычки и традиции и интеллектуально не был способен приспособиться к какой-либо другой. Поэтому с самого начала он действовал с величайшей осторожностью и умеренностью в высказываниях. Отчасти это объяснялось его мягким характером. У него не было желания ранить или уничтожать, за исключением тех случаев, когда правда могла вынудить его сделать это. Один из ранних критиков восхитительно отзываясь о "великодушной простоте характера, который, поднявшись над всеми мелочными и личными чувствами, донес до человечества доктрину, переворачивающую ход мыслей, при этом как можно меньше нарушая глубоко укоренившиеся чувства эпохи".[159]

Именно эта осторожность и осмотрительность побудили его написать такие отрывки, как заключение "Происхождения" с интересным введением к более поздним изданиям фразы "от создателя" в последнем предложении.[160] И эта осторожность была вызвана не только робостью или нежеланием шокировать, но также естественным нежеланием Дарвина связывать себя обязательствами в регионах, где он не чувствовал себя как дома, или сделать хоть шаг за пределы собственно научной области, которую он действительно сделал своей собственной. Что касается конечных вопросов, он признался, что сам находится в "замешательстве",[161] и почему он должен вмешиваться в более определенное вероучение других?

С другой стороны, там, где его выводы были ясны и устоявшиеся, он намеревался высказаться открыто и позволить правде восторжествовать, не считаясь ни с чьими чувствами. Он не хотел поддерживать никаких доводов, выдвигать никаких аргументов в свою пользу, ему нужны были факты и ничего больше. И когда он чувствует, что слишком сильно поддался народным предрассудкам и желанию примирить их, его сожаление становится явным, и он решает больше

так не поступать: 'Я давно сожалею о том, что подчинился общественному мнению и использовал пятикнижный термин творения, под которым я на самом деле подразумевал "возникший" в результате какого-то совершенно неизвестного процесса. Это просто вздор - думать в настоящее время о происхождении жизни; с таким же успехом можно думать о происхождении материи".[162]

Что касается этого мира, в вопросах морали, поведения и вообще влияния эволюции на социологию, собственные твердые моральные привычки Дарвина и уравновешенный темперамент делали его, возможно, излишне оптимистичным. Искушение мало влияло на него. Почему оно должно оказывать большее влияние на других, даже не поддающихся небесному руководству и контролю? В "Происхождении человека" он пытается показать социальный инстинкт как достаточную и удовлетворительную основу для честной жизни: 'Мы видели, что даже на раннем этапе истории человечества выраженные желания сообщества, естественно, в значительной степени влияли на поведение каждого члена.... Таким образом, снимается упрек в том, что мы закладываем основу самой благородной части нашей натуры в базовом принципе эгоизма".[163] И в другом месте он добавляет: "Не исключено, что после долгой практики добродетельные наклонности могут быть унаследованы".[164] Тем не менее, смертельные, изматывающие, разрушающие последствия борьбы за существование проявляются повсюду, и усилия, предпринимаемые с самыми благими намерениями, не могут полностью скрыть их: "Это может быть трудно, но мы должны восхищаться дикой инстинктивной ненавистью пчелиной матки, которая побуждает ее к действию". она должна уничтожить молодых королей, своих дочерей, как только они родятся, или погибнуть самой в бою; ибо, несомненно, это на благо общества; и материнская любовь или материнская ненависть, хотя последнее, к счастью, встречается крайне редко, все равно что для неумолимого принципа естественного отбора".[165] В то время как оптимизм Дарвина относительно возможных последствий проявляется, как мне кажется, в примечании к 'Происхождению'. Он комментирует статью мисс Кобб, в которой она говорит, имея в виду его этические объяснения: "Я не могу не верить, что в час их триумфа прозвучит похоронный звон по добродетели человечества'. На что Дарвин спокойно замечает: "Следует надеяться, что вера в постоянство добродетели на этой земле не столь слаба у многих людей".[166]

Когда речь заходит о влиянии эволюции на другой мир, позиция Дарвина столь же интересна и столь же неубедительна. Для меня одно из самых характерных и наводящих на размышления предложений, которые он когда-либо написал, содержится в письме Уоллесу от августа 1872 года (курсив мой): 'Возможно, простого повторения утверждений, данных доктором Бастианом и другими людьми, чье мнение я уважаю и которые долго работали над низшими организмами, было бы достаточно, чтобы убедить меня. Это прекрасное признание интеллектуальной слабости; *но какое необъяснимое состояние ума - это состояние веры.*"[167] Выводы здесь почти непостижимы, но достаточно ясно, что для Дарвина вера в целом не была духовной необходимостью его существования, а просто пришла с подавляющим навязыванием фактов.

Что касается будущей жизни, Дарвин признал в отрывке, который я цитировал ранее, что вера в нее была необходима для завершения процесса, установленного здесь, и крайняя необходимость веры ясно проявляется в отрывке, предполагающем трагическое физическое будущее этой земли: 'Я вполне согласен, насколько унижен медленный прогресс человека, но у каждого есть свой любимый ужас, и этот медленный прогресс ... погружается в моем сознании в незначительность по сравнению с идеей или, скорее, я предполагаю уверенность в

том, что солнце когда-нибудь остынет и мы все замерзнем. Подумать только, миллионы лет прогресса, когда каждый континент кишит хорошими и просвещенными людьми, и все это заканчивается этим, и, вероятно, не будет никакого нового начала до тех пор, пока наша планетная система снова не превратится в раскаленный газ".[168]

Однако, когда вопрос о будущем обсуждается снова и снова, в результате, как и в случае с другими вопросами, получается полная путаница и головоломка, и все, что о них можно сказать, это: "Вывод, к которому я всегда прихожу после размышлений над такими вопросами, заключается в том, что они находятся за пределами человеческого интеллекта; и чем меньше человек думает о них, тем лучше".[169] Что, по крайней мере, бросается в глаза, так это то, что Дарвина не слишком беспокоят огромные изменения в жизни в этом мире, которые, вероятно, последуют за потерей веры в другую.

И опять же, есть эволюция и Бог. Дарвин часто настаивает на том, что он не атеист и что его систему нельзя обвинять в каких-либо атеистических выводах: "Пусть каждый человек надеется и верит во что он может. Конечно, я согласен с вами в том, что мои взгляды вовсе не обязательно атеистичны".[170] Вера в Бога в высшей степени полезна: "У более цивилизованных рас убежденность в существовании всевидящего Божества оказала мощное влияние на развитие морали".[171] При каждой удобной возможности Богу предоставляется честная игра и шанс на победу: от Него зависит максимально использовать это. В то же время препятствия и трудности огромны и могут показаться непреодолимыми. Таким образом, в 'Одомашниваемых растениях и животных' делается вывод: 'Если мы предположим, что каждая конкретная вариация была предопределена с самого начала всех времен, то та пластичность организации, которая приводит ко многим вредным отклонениям в структуре, а также избыточная способность к воспроизводству, которая неизбежно ведет к борьбе за существование и, как следствие, к естественному отбору или выживанию наиболее приспособленных, должны казаться нам излишними законами природы. С другой стороны, всемогущий и всеведущий Творец все предопределяет и предвидит. Таким образом, мы сталкиваемся лицом к лицу с такой же неразрешимой трудностью, как проблема свободной воли и предопределения".[172]

Но результатом в любом случае, если Бог вообще останется в Своей вселенной, будет удаление Его очень, очень далеко и полное уничтожение всякого смысла Его вмешательства в мелкие повседневные действия и переживания обычной жизни, а также всякого интимного общения и совещания с Ним по поводу этих действий. Когда "Происхождение человека" будет опубликовано, миссис Дарвин просто напишет своей дочери: "Я думаю, это будет очень интересно, но мне это очень не понравится, поскольку это снова отдалит Бога".[173] Для других, кроме миссис Дарвин, Это привело Его к исчезновению.

Но если сам Дарвин довольствовался тем, что оставлял Бога в покое, насколько это было возможно, то более пылкие и ревностные последователи Дарвина были склонны вообще изгнать Творца из вселенной. Особенно это касалось агрессивных дарвинистов в Германии. Они продлили вычеты эволюции, чтобы все практические работы человеческой жизни таким образом, что отчетливо Дарвин осуждал: 'что за дурацкая идея, по-видимому, в Германии, он пишет о связи между социализмом и эволюции путем естественного отбора.'[174] в Дарвина энергичный ученик, Вайсман, эволюционная теория, казалось, так прочно, как гравитация: 'мы знаем, что так же верно, как то, что Земля вращается вокруг Солнца, что живой мир на нашей

земле не был создан сразу и в государстве, в котором мы его знаем, но что она постепенно развивалась посредством того, что, по нашим человеческим оценкам, кажется, чрезвычайно длительных периодов времени.'[175] и в Вейсман мнению, эволюция пошла бы на создание надлежащих нравственных идеалов, как это было сделано в прошлом: число тех, кто действует в соответствии с идеалами чище, выше человечества, в которых заботиться о других и для всего ограничит забота о себе, будет, я уверен, со временем увеличивается, что приводит к увеличению этических представлений, как это уже сделали в срок человеческого существования нам известны.'[176] Хэкель подменил его буйный, торжествующий материалистический атеизм в обход суевериям более раннего времени.

В Англии Хаксли пытался подчеркнуть полное разделение религии и науки, хотя никто лучше него не знал, насколько фатально они пересекаются на каждом шагу. Спенсер, снабдив эволюцию метафизическим аппаратом, распространил ее действие на все области спекулятивной мысли. Маловероятно, что его сейчас много читают, но его "Основные принципы" распространили широкую закваску агностицизма среди молодежи прошлого поколения, и я не знаю, где вы найдете более удручающее утверждение о возможной бесплодности эволюционных результатов, чем в заключении его автобиографии: 'Тогда за этими тайнами кроется всеобъемлющая тайна — откуда эта универсальная трансформация, которая непрерывно происходила на протяжении прошлой вечности и будет продолжаться непрерывно на протяжении будущей вечности? И вместе с этим возникает парализующая мысль — что, если из всего этого, что так непостижимо для нас, нигде не существует понимания? Неудивительно, что люди находят прибежище в авторитетных догмах.... Наконец, возникают неразрешимые вопросы, касающиеся нашей собственной судьбы: доказательства, кажушиеся настолько убедительными, что отношения разума и нервной структуры таковы, что прекращение одного сопровождается растворением другого, в то время как одновременно приходит мысль, такая странная и так трудно реализуемая, что со смертью исчезает как сознание существования, так и сознание того, что оно существовало'.[177]

## II

После рассмотрения взгляда Дарвина на практическое применение его открытия интересно подытожить, насколько это возможно в таких туманных и неопределенных вопросах, собственное впечатление о влиянии общественного признания этого открытия. И здесь я должен подчеркнуть, что я не имею дело с философскими или научными теориями, и меньше всего с любыми подобными теориями, созданными мной самими, а просто пытаюсь предложить то, что мне кажется косвенной и вторичной работой научной теории в умах огромных масс людей, даже тех, кто традиционно связан с церквями различных деноминаций. Вряд ли нужно говорить, что собственное учение Дарвина нельзя считать непосредственно ответственным за эти разработки, и что многие из них он бы полностью отверг. Более того, следует также признать, что Дарвин в значительной степени обобщил и воплотил общий научный ход эпохи. Особенно мы не должны упускать из виду огромное влияние практической, а также теоретической науки на современную жизнь. Превосходная редакционная статья в *Saturday Review of Literature* (8 мая 1926 г.) подчеркивает важность научных изобретений и механизмов для жизни людей девятнадцатого и двадцатого веков, и это значение, как прямое, так и косвенное, почти неисчислимо. Например, книгопечатание распространило мысль в массах. Швейная машинка изменила мир женщины. Необычайное развитие транспорта чрезвычайно усилило поверхностную суету и рассеянность жизни, что нанесло серьезный ущерб медитации

и духовным интересам. Тем не менее, эволюционную теорию можно рассматривать как типизирующую и формулирующую все эти сложные тенденции более полно и эффективно, чем любую другую. О том, как работала теория, хорошо свидетельствуют многозначительные слова профессора Осборна, хотя он осторожно настаивает на том, что именно неправильное понимание эволюционной доктрины стало причиной зла: 'Можно сказать без научного или религиозного предубеждения, что повсеместная утрата старых религиозных и библейских основ морали была одной из главных причин упадка человеческого поведения, литературы и искусства. Это, однако, частично происходит из-за полного непонимания творческой эволюции, которая является процессом восхождения, а не нисхождения'.<sup>[178]</sup>

Давайте попытаемся проследить за ходом эволюции на различных этапах жизни и мышления. Возьмем, во-первых, политику. Возможно, мы не сможем лучше установить две сильно противоположные точки зрения на явления политической жизни, чем с помощью противопоставленных цитат. Президент Кулидж, выступая 29 октября 1926 года, сказал: "Я не знаю никакой адекватной поддержки нашей формы правления, кроме той, которая исходит от религии".<sup>[179]</sup> Профессор Келлер, пишущий о "Социальной эволюции", говорит: "Что движет людьми ... это не мысль, а эмоция. И то, что приводит эмоцию в действие, - это интерес.... То, что приводит революции в движение в результате радикального отбора кодов, - это не размышления кого-либо над важными проблемами, а невыносимый дискомфорт и пробудившиеся эмоции масс. Их интересы были настолько оскорблены, что кажется, что все может быть лучше настоящего".<sup>[180]</sup>

Великое демократическое движение последних ста пятидесяти лет, естественно, произошло намного раньше дарвинизма. Его корни были заложены в восемнадцатом веке учениями французских философов, главным образом Руссо, и практическими действиями Американской и Французской революций. Но взгляды эволюционной науки превосходно соответствовали сильному индивидуализму демократии, ее провозглашению права отдельного человека отстаивать себя против всех остальных, высоких или низких, богатых или бедных.

После того, как демократия утвердилась в мире, интересно наблюдать за усилиями теологии заявить о ней и настаивать на том, что ценность и важность личности являются постепенным следствием и неотъемлемым элементом христианской доктрины. Это правда, что христианство всегда провозглашало равенство всех душ перед Богом и их равную потребность в спасении. Но столь же верно и то, что Церковь всегда спокойно уживалась с любым видом тирании и на протяжении веков торжественно поддерживала божественное право королей, во все времена ссылаясь на неизменный текст: "Отдай кесарю то, что принадлежит кесарю". И более глубоко верно то, что естественный христианский акцент на важности другого мира имеет тенденцию создавать безразличие к политическим проблемам этого, так что даже в середине девятнадцатого века сторонники возрождения, такие как Муди, могли рассматривать политические движения и реформы как вопросы второстепенные перед лицом неминуемого катаклизма, который полностью уничтожил бы этот мир и его деяния. Наиболее энергичное отстаивание прав человека как смертного исходило от тех, кто очень мало заботился о его бессмертии.

И если безразличие к потустороннему миру повлияло на политику, то еще больший эффект оно оказало в более общих областях социологии. До тех пор, пока бедные и обездоленные учились — у богатых, — что их пребывание здесь было бесконечно незначительным по сравнению с

блаженством, которое ожидало их после смерти, они могли переносить это со сравнительным терпением. Лазарус мог с изрядным удовольствием позволить собакам зализывать его язвы, в то время как сам утешался мыслью, что для Погружений грядет не менее неудачный день, и даже гораздо более того. Но когда он убедился, что этот мир - это все, Лазарус взбодрился и изобрел социализм, анархизм, большевизм и многие другие "измы" с большой буквы, которые могли бы позволить ему заняться вопросом Погружений прямо здесь и позаботиться о том, чтобы, если он сам не мог разделить все блага богатых, по крайней мере, богатые могли бы стать такими же несчастными, как он. Мы настолько постепенно привыкли приспосабливаться к точке зрения этого мира, что с трудом осознаем, насколько полно и обширно это вошло во взгляды даже тех, кто прямо этого не признает.

Возьмем еще раз влияние науки на сферу искусства. С конца восемнадцатого века внешняя природа начала играть в искусстве роль, которой она никогда раньше не играла, и выдающееся место пейзажа в живописи стало столь же заметным, как описания природы в литературе. Но в течение первой половины девятнадцатого века это естественное влияние было романтическим, творческим, эмоциональным. В средние годы научная тенденция дала о себе знать, и искусство стало более реалистичным. Это, пожалуй, наиболее очевидно в литературном мире, и великие романисты Франции, начиная с Бальзака, воплощают научное движение, ярким представителем которого является Дарвин. Наиболее значительным в этом отношении является великая эпопея Золя "История семьи Ругон-Маккар" в двадцати солидных томах. Я ни на минуту не ручаюсь за основательность науки Золя, которая, возможно, в своем роде столь же фантастична, как романтика Дюма. Дело в том, что Золя считал себя олицетворением и иллюстрацией научных тенденций и что общепринятое представление о борьбе за существование, со всей ее слепой и ожесточенной жестокостью, с ее жалкой трагедией войны и беспощадного уничтожения животного мира, было передано человечеству на бесконечных страницах, столь же мрачных, сколь и сильных, великой французской творческой драмы. И интересно, когда мы переходим к сегодняшнему дню, обнаружить вдумчивого критика, приписывающего уродливые и реалистические тенденции современной американской художественной литературы не каким-то мимолетным потрясениям, вызванным мировой войной, а именно этому постепенному влиянию научной мысли, которое ощущается повсюду: "То, на что мы смотрим, - это не продукт десятилетия или эпизода, даже такого выдающегося эпизода, как битва, но плодородие научных доктрин, которые на протяжении нескольких десятилетий просачивались в общество. То, что мы наблюдаем, - это уступка романтического взгляда на жизнь науке".[181]

Таким образом, научные концепции, действующие в массовом сознании, сосредоточили его на делах этого мира и свели различные аспекты иного, некогда столь безмерно важные, к призрачной непоследовательности. Наука, например, избавилась от ада со смехотворной полнотой. Старый материальный ад, каким его видел Данте и Средневековье, - хранилище, находящееся определенно под землей, с дьяволами, деловито занятыми над кипящими котлами, - несомненно, исчез, чтобы никогда не вернуться. В научно организованной физической вселенной для этого нет места. Даже мой друг Муди, чьи представления о рае были такими конкретными, не пытается определить такое физическое местоположение ада. И это правда, что ортодоксы все еще находят убежище в моральных муках, длительных, если не вечных ужасах, которые заблудший дух в умышленной извращенности причиняет сам себе. Но сомнительно, что даже ортодоксы продолжают относиться к этому очень серьезно. Не так уж много найдется людей, которые все еще страдают от нависающего мрака, которым конкретное

видение ада искренне угнетало тысячи чувствительных душ в прошлые века. И в некоторых отношениях это может быть расценено как выигрыш, поскольку страдания чувствительных душ были очень реальными, в то время как вопрос о том, насколько страх ада действовал как сдерживающий фактор для душ другого порядка, всегда остается открытым. Но, выигрыш это или проигрыш, вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что кипящие глубины ада в значительной степени выкипели.

К сожалению, ад, уходя, продемонстрировал заметную тенденцию тащить за собой рай. Те же материальные трудности, конечно, возникают и здесь. Муди обычно заявлял, что рай осязаем, его можно нанести на карту, что он похож на Нью-Йорк, только с более приятными улицами и, несомненно, лучшей организацией дорожного движения. Но сегодня самому набожному верующему трудно принять столь конкретный взгляд. И дело не только в том, что исчезли жемчужные ворота и золотые тротуары. Их исчезновение нанесло серьезный удар по вере в какую бы то ни было будущую жизнь. Я просто говорю о среднем американце с улицы и, возможно, даже о женщине. Негативные взгляды в подобных вопросах, озвученные незадолго до своей смерти таким хорошим, таким честным, в самом широком смысле христианином, как Лютер Бербанк, вне всякого сомнения, являются взглядами, более или менее определенно сформулированными миллионами людей в Америке сегодня. Лучшее, что они могут сказать, это то, что их дело - прожить здешнюю жизнь самым энергичным, простым и прибыльным способом, на который они способны, позаботиться о том, чтобы после их смерти их жены и дети были обеспечены, и предоставить другим людям самим заботиться о себе.

И затем возникает вопрос о Боге, и кажется, что у Него тоже есть тенденция исчезать вместе с исчезновением Его небесного обиталища, так что я чувствую трогательный оттенок нежности к ушедшему величию, когда пишу местоимение с заглавной буквы. Научная причинно-следственная связь настолько прочно проникла в умы даже тех, кто не думает об этом в формальных терминах, что старое ощущение вмешательства Божественного Провидения в повседневные дела и старые близкие отношения с личным Отцом были значительно ослаблены там, где они не были полностью забыты. Как предполагает миссис Дарвин, Бог отдаляется все дальше и дальше. Иногда утверждается, что эта отдаленность связана с более глубоким и серьезнейшим благоговением, что наше отношение к имманентному Божеству стало более достойным и глубоко духовным; но существует большая опасность почитать Его за пределами существования. В Средние века люди относились к Богу так фамильярно, как если бы Он был другом за углом, но они чувствовали Его.

Богослужение, во всяком случае протестантское богослужение, имеет тенденцию терять свой религиозный характер и всепоглощающее ощущение Божественного присутствия и становится простым вежливым общением в социальных целях. Вы слышите, как многие люди говорят, что им лучше поклоняться Богу в одиночестве в полях, чем в церквях. Что касается некоторых церквей, то это чувство вполне естественно, но мне интересно, многие ли думают о Нем на полях для гольфа, кроме как в форме ненормативной лексики, или в спешке и водовороте забитых машинами магистралей, или даже в полях, если кто-нибудь еще когда-нибудь туда доберется. А молитва? Я говорил в связи с Дарвином о моем старом друге, который молился, хотя ему не о чем было молиться. Возможно, что эту привычку поддерживают больше людей, чем мы предполагаем. Но для скольких людей это все еще страстное ходатайство о божественной помощи в их повседневных нуждах или средство самозабвенного общения с утешающими, поддерживающими, вечными Руками? Сколько мальчиков все еще молятся о

том, чтобы с них сняли ограждения или чтобы они выиграли в своих играх в бейсбол и футбол? Можем ли мы представить себе такое положение вещей, как указано в описании Финни пробуждения столетней давности? 'Действительно, город был полон молитв. Куда бы вы ни пошли, вы слышали голос молитвы. Проходите по улице, и если двое или трое христиан случайно оказываются вместе, они молятся. Где бы они ни встречались, они молились.'<sup>[182]</sup>

Наиболее поразительный из всех сдвигов, вызванных вторжением научного подхода, связан с изгнанием греха. С исчезновением старой теологии и утверждением эволюционных доктрин был устранен не только первородный грех, но и тревожные, преследующие муки совести и раскаяния, по-видимому, значительно уменьшились. Без сомнения, это все еще, как всегда, в основном беспокоит тех, кто меньше всего в этом нуждается. Без сомнения, некоторые люди все еще доводят себя до агонии за воображаемые грехи. Но огромное количество людей, особенно молодого поколения, похожи на героиню пьесы Леметра, "маленькую женщину, которая, не имея никакого определенного представления о значении позитивизма, дарвинизма, борьбы за жизнь и т.д., живет в моральной атмосфере, пропитанной всеми этими вещами".<sup>[183]</sup> И, как следствие, ее моральное отношение претерпевает великую трансформацию современного мира, в результате которой старомодный грех становится просто новомодной ошибкой. Другими словами, целесообразность, вера в то, что не стоит поступать неправильно, занимает место старой божественной санкции, божественного повеления, божественной награды и наказания.

Есть много людей, которые очень оптимистично относятся ко всему этому. Им кажется, что старое, инстинктивное чувство греха было глупым и причиняло гораздо больше страданий, чем излечивало. Ожидается, что целесообразность, или осознанный личный интерес, работающий с более широкими интересами сообщества, все более эффективно и удовлетворительно заменит старый категорический императив. Но другим кажется, что целесообразность - всего лишь холодная и тонкая трость, на которую можно опереться, когда приходит напряжение страсти и искушения. 'Клятвы, - говорит Шекспир, - солома в огне крови'. Страх перед адом часто был достаточно мягким сдерживающим фактором, но сомнительно, что отдаленных соображений целесообразности будет достаточно, чтобы сдерживать даже столь эффективно, как адский огонь.

Этим старомодным и консервативным людям кажется вероятным, что упадок божественного происхождения ослабит и сломает пружины морального действия и что в просвещенном эгоизме просвещение вряд ли достаточно мощно, чтобы искоренить эгоизм. Некоторые из этих людей даже были склонны видеть в Мировой войне по крайней мере кульминацию эволюционных доктрин о борьбе за жизнь и выживании наиболее приспособленных, и, безусловно, именно в протесте против этих доктрин фундаменталисты находят лучшее оправдание своим попыткам отбросить назад и подавить движение человеческой мысли, если вообще было какое-либо оправдание неразумности попытки запрудить Миссисипи листом бумаги.

### III

Когда мы отворачиваемся от общепринятого представления об эволюции и ее механизмах, мы можем, если захотим, обнаружить множество интерпретаций теоретиков, дающих разные результаты.

Задолго до Дарвина эволюция, в смысле более масштабного процесса развития и развертывания во Вселенной, была предвосхищена и лелеялась философами. Не говоря уже о греках, преемники Канта в Германии, каждый по-своему, изобрели какое-то динамическое объяснение духовного мира. Фихте построил свою мистическую метафизику эго, Шеллинг разработал свою схему согласования "Я" и "Не-я", Гегель воздвиг свое превосходное логическое здание на основе тезиса, антитезиса и синтеза, начиная с элементов бытия и небытия, примиренных в прогрессивном тезисе становления, который сам по себе, по-видимому, содержит в себе зародыш всего эволюционного развития. Шопенгауэр и Гартман придерживались в чем-то схожих взглядов в своем пессимистическом подходе к Воле и Бессознательному. Итак, опять же, мышление нашего собственного Эмерсона не только предвосхищает Дарвина в таких деталях, как строки, которые я уже цитировал,

-И стремящийся стать человеком, червяк

Поднимается по всем шпилькам формы",

но в высшей степени наводит на мысль об эволюции чрезвычайно динамичный, развивающийся характер его мысли, которая, возможно, также, в своем намеке на пантеистическое безразличие к бессмертию, может быть названа столь же разрушительной для более скромных человеческих надежд, как и Дарвин.

Также есть философы, которые, очевидно, входя в рамки эволюции и дарвинизма, трансформируют их определенным божественным сиянием и духовными изменениями. Есть Уильям Джеймс. Сорок лет назад мне довелось ехать в конном вагоне напротив Джеймса, который со всем своим великолепным, пылким энтузиазмом беседовал с учеником, сидевшим рядом с ним. Джеймс сказал, что какое-то время его угнетал мрачный пессимизм Шопенгауэра. Затем он взял себя в руки и решил, что истинный путь для него - избавиться от всего зла в пределах его досягаемости, насколько это возможно лично для него, и позволить более широкой работе вселенной позаботиться о себе самой. Здесь мы видим зародыш, который позже вырос в великолепную ткань прагматизма, веру в то, что Дух, создавший мир эволюционирующих явлений, сам по себе был объектом динамичного роста и силы, способным с помощью своей собственной природной энергии создать будущее, реальность и Бога, которые должны воплощать его высшие идеалы. Параллельное развитие проявляется в 'Творческой эволюции' Бергсона, теории творческого духа, постоянно развивающегося в более богатых, великолепных, приносящих удовлетворение формах в вечных глубинах светлого будущего. Со дня, когда взгляды Дарвина были впервые озвучены, и по сей день, вплоть до публикации таких книг, как "Наука и современная мысль" профессора Уайтхеда и 'Эмерджентная эволюция' профессора Ллойда Моргана, мыслители усердно работали над интерпретациями и развитием эволюционной доктрины, невзирая на конфликты и расхождения, в духе замечательного высказывания профессора Уайтхеда: "Столкновение доктрин — это не катастрофа, это возможность". Результаты несколько сбивают с толку и, возможно, редко удовлетворяют кого-либо, кроме самих мыслителей, но они, по крайней мере, стимулируют и наводят на размышления.

И есть достижения духовенства. Как я указывал ранее, потребовались титанические усилия многих поколений, чтобы привести Библию и теорию Коперника в гармонию, но благодаря бесконечным процессам разумных ухищрений, которые так забавляли Дарвина в нем самом и других<sup>[184]</sup>, они были успешно сведены воедино. Затем появился этот позднейший возмутитель

спокойствия, и поначалу богословы пришли в отчаяние. Но когда богослов когда-либо впадал в полное отчаяние? У человечества должен быть Бог, должен быть Христос, должна быть Библия и, прежде всего, должно быть священство. Если бы дарвинизм покончил с первыми тремя, я спрашиваю вас, чем бы священники зарабатывали на жизнь? Следовательно, противоборствующие элементы должны быть примирены, и так и должно быть. Наука в противоречии с религией? Тьфу! Никогда! Ведь наука только проясняет религию, а религия обогащает и приносит плоды науке. Брак этих двоих торжествующе провозглашен в радостном возгласе доктора Кэдмана, который олицетворяет тысячи других и демонстрирует, что все к лучшему в лучшем из всех возможных духовных миров: 'Эволюция далека от того, чтобы быть несовместимой с религией, она из всех научных теорий наиболее легко приспосабливается к требованиям веры. Сама по себе эволюционная гипотеза предлагает всем ученым и верующим в религию одну из самых благородных концепций творческого разума, которые только можно найти в литературе. Идея прогрессивного развития, достигающего высшей точки в совершенствовании, содержит самый лучезарный оптимизм, существующий на сегодняшний день". [185] Было бы трудно улучшить великолепие этого отрывка, но он предлагает обширную пищу для размышлений. Почему-то я инстинктивно перехожу от этого к замечанию Дарвина об одном из его ортодоксальных поклонников: 'Какой забавный человеческий разум! Он говорит, что обратился главным образом потому, что мои книги разъясняют ему Рождение Христа, Искушение по Благодати и т.д." [186] Как забавны человеческие умы!

А затем появляются эти отвратительные фундаменталисты, которым некоторые из нас склонны симпатизировать, и заявляют, что дарвинизм полностью разрушает Библию и Христа. Но Библия в том виде, в каком они ее читают, непогрешима. Следовательно, дарвинизм, должно быть, ошибочен: давайте сокрушим его, перемелем и растопчем в мире.

Оптимизм ученых столь же настойчив и, возможно, немного более убедителен, чем у теологов. Во-первых, есть те, кого, не имея в виду никакой клеветы, можно назвать псевдоучеными, писатели, у которых нет специальной научной подготовки, опыта или дисциплины, но которые применяют свое острое литературное остроумие к рассмотрению эволюционных проблем, как и многих других. Если господа . Нельзя сказать, что Батлер, Шоу, Уэллс и остальные внесли очень ценный научный вклад, они, по крайней мере, применяли вдумчивый, острый, наводящий на размышления анализ и стимулирующие гипотезы как в религиозной, так и в социологической областях.

Оптимизм подготовленных и признанных ученых, однако, несколько серьезнее и важнее. С момента появления теории Дарвина были такие, как Эйса Грей, которые упорно считали ее идеально, ярко совместимой со всей ортодоксальностью. Сам Грей отстаивал эту позицию с воинствующей энергией, а Майварт, хотя и гораздо более критически относился к Дарвину, сумел примирить общие принципы эволюции с давней приверженностью католической церкви. В наши дни сэр Оливер Лодж примирил жизнь, полную научных исследований, со спиритуалистическими верованиями, и даже один из первооткрывателей Дарвина, Уоллес, горячо защищал спиритуализм до конца.

Другие, которые не столь крайни в своих выводах, все же настаивают на том, что нет никакого конфликта между твердой верой в дарвинизм и духовной надеждой. Ученые такого типа особенно подчеркивают преимущества, которые просвещенная научная теория дает нашей жизни в этом мире. Эволюция, по их мнению, учит великолепному прогрессу человека в

прошлом и в будущем, его обогащающему развитию, его растущей солидарности в благополучии и добрых делах. Когда читаешь эти почти экстатические интерпретации научных возможностей, действительно трудно сопротивляться их восторгу. Послушайте энтузиазм профессора Конклина: "Прошлые и нынешние тенденции эволюции оправдывают самые высокие надежды на будущее и вселяют веру в конечную кульминацию этого великого закона в

“Одно далекое божественное событие

К которому движется все творение”.’[187]

Религия будущего должна быть не хуже религии прошлого: кто знает, может быть, она бесконечно лучше? "В прошлом религия в значительной степени имела дело с человеком и его отношениями с Богом; ее главной заботой было спасение индивидуальных душ и их подготовка к будущей жизни; она была в значительной степени *эгоцентрической*. Религия будущего должна все больше и больше заниматься спасением общества; она должна быть *этноцентрической*".[188] По очаровательным словам Мейлака и Халеви:

‘C’est imprévu, mais c’est moral.

Ainsi finit la comédie.’[189]

- Причем неожиданно нравственный,

На этом комедия заканчивается".

Конечно, есть люди, которым весь этот экстаз кажется скорее великолепным, чем существенным. Я не могу не вспомнить горький комментарий Леопарди о сциолистах, которые были усердно заняты созданием счастливого целого из жалких составных частей:

"Возвышенные духи моего времени открыли новую и почти божественную схему: не будучи в состоянии сделать счастливым ни одного человека, они забыли отдельных людей и поставили перед собой задачу сделать счастливым общество в целом".[190] И он заключает:

"Я не знаю, жалеть мне или улыбаться".[191]

Я признаю, что я сам совершенно, чрезвычайно эгоцентричен, и эти *этнические* соображения меня очень мало интересуют. В той мере, в какой благо расы отождествляется с моим личным комфортом и благополучием, я заинтересован в этом. Но мое эго взывает к Богу просто ради самого себя, и если ему суждено исчезнуть, как капле росы на солнце, словами невозможно выразить мое полное безразличие к благополучию расы, мира и вселенной.

Тем не менее, вполне вероятно, что человечество достигнет некоторой корректировки в этом вопросе. Человечество всегда требовало духовных идеалов и божественного присутствия и всегда будет требовать их. Если они будут утрачены, он их заново изобретет. Если они будут уничтожены, он их воссоздаст. Без сомнения, рассуждений философов, веселых поступков духовенства и стойкого оптимизма ученых будет достаточно, чтобы удержать религию, человеческую душу и даже Бога на ногах и дать Им возможность достойно продолжать мечтательный полет грядущих веков.

## IV

Между тем, интересно рассмотреть, сколько великих людей последнего поколения, и особенно наиболее интеллектуально влиятельных, были глубоко тронуты дарвинизмом и в той или иной степени ощущали его навязчивый мрак разрушения и его далеко идущие последствия. У Ибсена борьба за существование проявляется в интенсивном утверждении личности и его страстном подчеркивании права на жизнь и саморазвитие, и та же тенденция у Ницше выросла в туманный и колоссальный призрак Сверхчеловека. У Толстого навязчивая идея дарвинистского конфликта и выживания проявляется в более ранних романах "Анна" и "Война и мир", но в конце концов, подобно Золя или Джону Фиске, он счел давление слишком сильным и ужасным и попытался найти противоядие от человеческих страданий в человеческой любви. У Ренана тонкая, деликатная, чарующая ирония служит только для того, чтобы сделать фундаментальный, растворяющий нигилизм более глубоким и разрушительным. Как он выразил это через драматических персонажей, которые являются всего лишь его рупором: "Как бы мы ни были неуверенны в судьбе человека, самый мудрый курс - позаботиться о том, чтобы, выдвигая всевозможные гипотезы, человек по крайней мере избегал быть слишком абсурдным";[192] еще раз: 'Хотя вселенная должна оказаться несерьезной, наука все еще может быть серьезной. Огромные суммы добродетели были потрачены на химер. Лучше избрать более добродетельный курс, даже если человек не может быть уверен, что добродетель - это больше, чем слово'.[193] Или наш американец Генри Адамс просит эволюцию дать ему образование, и просит напрасно. Все, чему это может его научить, - это тому, что *теребратула* может оставаться неизменной в своей незначительности на протяжении веков, пока человек эволюционирует, но в конце концов оказывается ничуть не более значительной, чем *теребратула*. И Адамс гаснет, как потухший факел, необразованный, в огромном, ничего не значащем вихре теорий и открытий, простых страданий и вопросов, которые навсегда должны остаться без ответа. И все же, возможно, Адамс был столь же адекватен вселенной, как и доктор Кэдман.

Есть, в частности, две фигуры, не столь важные по качеству своей мысли, но чрезвычайно важные по ее влиянию, которые выделяются как люди с избыточным весом и побежденные эволюционным упадком. Анатолий Франс, следуя Ренану, наполнил свои книги и свою жизнь мягкой, снисходительной, незлой терпимостью, редкой человеческой пронизательностью и сочувствием. И все же за всем этим, за снисходительной нежностью Сильвестра Боннара, доброжелательным любопытством Жерома Куаньяра и терпеливым пониманием месье Бержере всегда скрывалось ощущение тщетности человеческих усилий и тщетности человеческой судьбы. Все мотивы и интересы мужчин и женщин сводятся к дарвиновскому принципу самосохранения и размножения, или, как неоднократно выражается Франс, более смело: любовь и голод - это два полюса нашего существа. И когда он делает интимное признание о том, как эта теория работает в его собственной личности и жизни, вот результат: 'Сказано: "Человек - господин творения". Человек - повелитель страданий, мой друг. Нет более ясного доказательства несуществования Бога, чем жизнь.... Если бы вы могли прочесть в моей душе, вы были бы в ужасе.... Во всей вселенной нет существа более несчастного, чем я. Люди считают меня счастливым. Я никогда не был счастлив ни одного дня, ни одного часа".[104]

Или возьмем пример Марка Твена, гораздо более важного для американцев, чем Анатолий Франс, потому что можно с уверенностью сказать, что немногие авторы, если вообще какие-либо, оказали большее влияние на молодежь Америки, чем создатель "Гекльберри Финна". Марк, как и Франс, был самым добрым, нежным, гуманнейшим из людей и писателей. Его

энергичное сочувствие и поддержка были направлены на облегчение страданий и угнетения повсюду. Но хотя он не был особенно сведущ в науке или философии, чума крайнего нигилистического неверия поразила его душу так же сильно, как душу Франции, и гораздо более воинственно. Разрушительный эффект эволюционного учения не может быть показан более полно, чем в аргументах, которые Марк, чтобы сохранить свою репутацию, вкладывает в уста сатаны в 'Таинственном незнакомце': 'Бог ... кто говорит о справедливости и изобрел адские уста, милосердие и изобрел адские уста, Золотые правила и прощение, умноженное на семьдесят семь, и изобрел ад; кто проповедует мораль другим людям, а у самого ее нет; кто не одобряет преступления, но совершает их все; кто создал человека без приглашения, а затем пытается переложить ответственность за поступки человека на человека, вместо того, чтобы с честью возложить ее туда, где ей место, на себя; и, наконец, с совершенно божественной тупостью приглашает этого бедного, обиженного раба поклоняться ему!'"[105]

В заключение, возможно, кто-то может представиться, ни в малейшей степени не как связанный со всеми этими выдающимися личностями, а просто как представитель огромного числа обычных людей, которые живут, страдают и должны каким-то образом пробиваться сквозь ослепляющий туман лет и слез. Когда мне было шестнадцать, я прочитал 'Происхождение', и я думаю, впечатление, которое оно произвело, никогда не исчезало. Это не является и никогда не являлось поддержкой какой-либо преднамеренной философской теории. Я слишком лишен интеллектуальной подготовки или оборудования даже для того, чтобы создать такую вещь. Это не какой-либо агрессивный или воинствующий агностицизм. Это просто чувство полной незначительности перед лицом непостижимых процессов природы, такое, которое Леопарди выражает с неприкрытой интенсивностью: "Природе во всех ее действиях есть о чем думать, кроме нашего добра или зла".[106] Это чувство бесцельного дрейфа в огромной вселенной сознания, среди бесконечности других атомов, каждый из которых отчаянно борется за утверждение своего собственного существования за счет всех остальных.

Очевидно, это чувство борьбы между индивидуумами, борьбы повсюду, между теориями и верованиями, а также живыми существами, не влияет на каждого человека с одинаковой силой страдания. Есть натуры, устроенные настолько здоровым образом, что они испытывают простую радость от приключения и могут вечно прокладывать себе путь локтями сквозь толпу других ничтожеств с великолепным утверждением своей индивидуальности в конфликте. Если речь идет о теориях, они могут сказать вместе с профессором Уайтхедом: 'Столкновение доктрин - это не катастрофа, это возможность'. Если речь идет о более серьезной материальной борьбе, они могут замаскировать ее улучшением социального инстинкта или таким значительным оптимизмом, который поддерживал президента Элиота на протяжении его девяти столетия, считая, что радость жизни - в "соревновании без конфликтов".

Более немощные, более хрупкие, более сомневающиеся люди могут этого так не воспринять. Существует утомительный ужас бесконечной множественности, простирающийся от вечности к вечности. В одном индивидууме воплощена вселенная, и все же ощущение, что этот индивидуум более хрупок, чем сама вселенная, чувство, которое сводит всю жизнь и всех людей к простому зыбкому лабиринту и усложнению мимолетных ощущений, удерживаемых воедино тончайшей пеленой памяти и способных в любой момент рассеяться от малейшего потрясения. Без сомнения, исправление такого растворяющего ужаса состоит в том, чтобы интенсивно жить в своей собственной личности, не думая о ней, каждый момент *инстинктивно*

подчеркивать огромную важность своего эго, которого, если оно добивается своего, всегда достаточно, чтобы заполнить бесконечные пространства Вселенной и вытеснить главные звезды. Но для некоторых из нас такое подчеркивание трудно осуществить, и вместо этого, когда человек полностью проникнут эволюционным подходом, он слишком склонен считать себя более незначительным, чем *теребратула*, потому что он осознает свою собственную незначительность, а *теребратула* - нет.

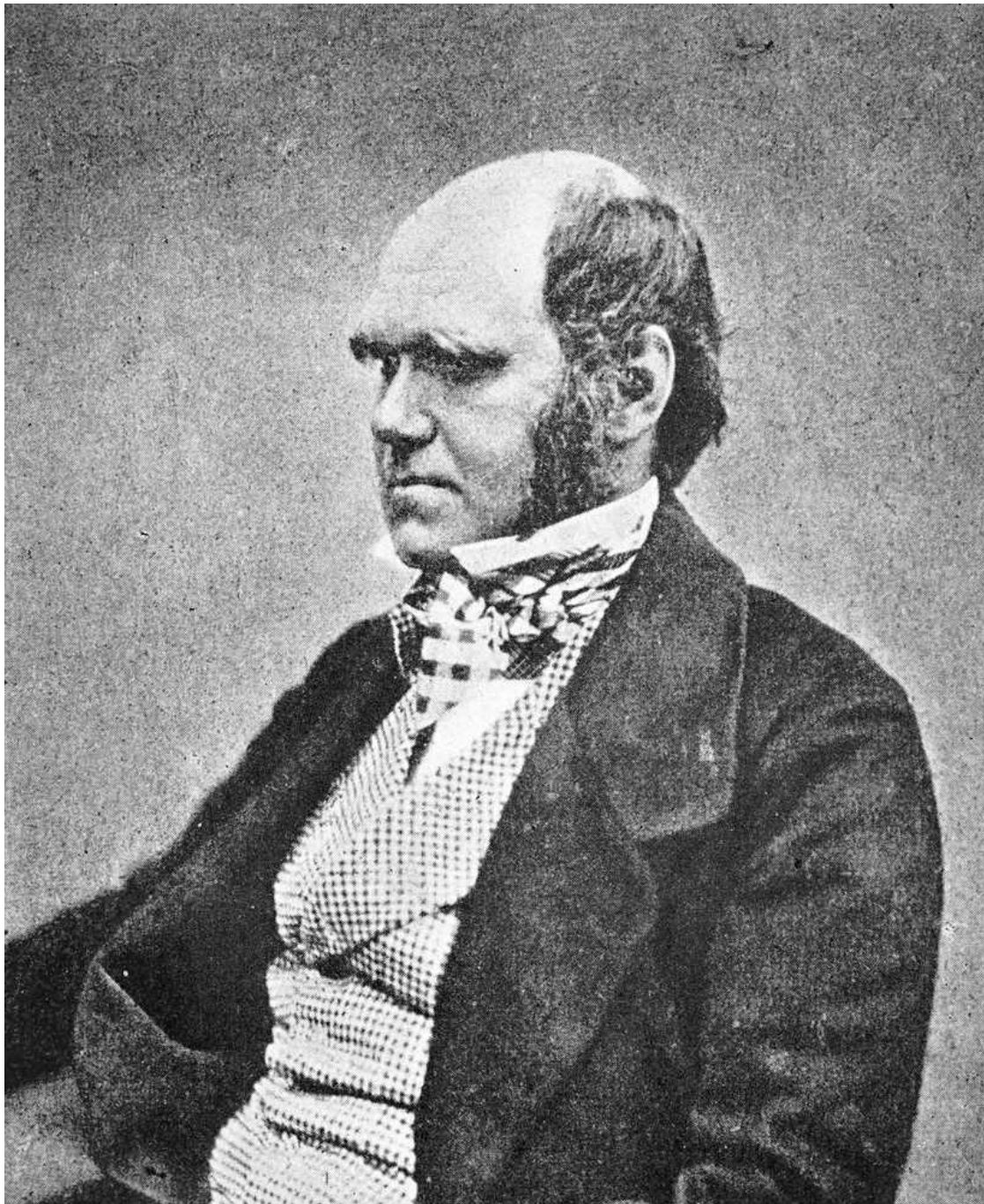
И это был Дарвин, мягкий, незлобивый человек, который не выносил вида крови, который возмущался жестокостью вивисекции и рабства, который ненавидел страдания людей или животных, это был Дарвин, который, по крайней мере, олицетворял строгую логику, которая разрушила вселенную для меня и для миллионов других.

## ГЛАВА VII

### ДАРВИН: НАУЧНЫЙ ДУХ

Я

Независимо от его реальной научной работы и открытий, Дарвин во многих отношениях является одним из лучших представителей научного духа, что кажется естественным завершить изучение его наиболее важными элементами этого духа, его замечательными и широко ценными качествами и его ограничениями, как показано на примере самого Дарвина и других людей по сравнению с ним.



ЧАРЛЬЗ ДАРВИН

Около 1854 года

Основой и фундаментальным мотивом научного духа является простое и естественное любопытство, бесконечное и часто просто своенравное желание знать и выяснять факты любого рода. Когда разум начинает освобождаться от сиюминутного, всепоглощающего давления простого существования, его первым побуждением является узнать что-нибудь об окружающей вселенной и о самом себе. И этот импульс направлен не только на полезность, на огромную практическую пользу, которую, очевидно, приносит с собой такое знание. Существует инстинкт занятия и отвлечения внимания, стремление избежать скуки и безделья и наполнить свои мысли внешним разнообразием, чтобы они не были затянuty и отягощены

чьими-то особыми заботами и неприятностями. Существует инстинкт соперничества, желание превзойти других в знаниях, если это невозможно, в богатстве или в успехе практических достижений.

Таковы мотивы коллекционера, и в некотором смысле ученый является собирателем фактов, подобно тому как другие собирают монеты, или марки, или фарфор, или старую мебель. Побуждающие мотивы любопытства и совершенства во многом совпадают. Есть люди, которые собирают и сортируют вырезки из газет, руководствуясь простым инстинктом коллекционера, собирают их по самым разным темам, со скрытым стремлением ученого накапливать знания, даже если они ими не пользуются.

Мы слишком склонны связывать науку исключительно с изучением природы, и таким образом представление о научном духе слишком сильно ограничено. Его реальная область столь же обширна, как и область человеческих интересов, а научные методы и научные цели применимы в равной степени к филологии, истории, религии, общим движениям человеческого общества, а также к любопытному рассмотрению животных и растений, камней и химических элементов.

Но если простое любопытство хочет стать по-настоящему научным, его необходимо расширить и углубить в исследования. То есть простой набор фактов должен быть систематизирован с помощью определенной цели и метода. Простое собирание то одного, то другого факта здесь и там, хотя это часто имеет свое великое и исключительное очарование, склонно вырождаться в бесцельность и тщетность. Она должна направляться и укрепляться чувством работы над каким-то конкретным выводом, который придаст всем фактам связность и значимость. Другими словами, необходимо изучать взаимосвязь фактов, а также сами факты, они должны быть согласованы и подчинены друг другу до тех пор, пока не будет раскрыта их реальная глубина значения. Как прекрасно Дарвин указывает на пропорциональную связь между теорией и наблюдением в следующем отрывке: *"Пусть теория руководит вашими наблюдениями, но до тех пор, пока ваша репутация не укрепитя, будьте осторожны в публикации теории. Это заставляет людей сомневаться в ваших наблюдениях"*.<sup>[127]</sup>

Двумя важнейшими элементами исследования являются полнота и корректность. Это правда, что окончательной полноты редко можно достичь в этом мире, но важно стремиться к ней, не оставлять камня на камне, ни одного неисследованного уголка, собирать все возможные факты из всех возможных источников, прежде чем позволить себе делать позитивные выводы или заключения, которые хотя бы приближаются к позитивным. И помимо полноты, следует проверить свою позицию со всех сторон, чтобы убедиться в ее правильности, насколько это возможно. Никто, кроме подготовленного научного мыслителя, не осознает полностью огромной возможности ошибки или в достаточной степени осознает, насколько склонна ошибка вмешиваться своим тонким и коварным действием в самые тщательные исследования и наиболее логически обоснованные теории. В одной из своих чрезвычайно наводящих на размышления небрежных фраз Дарвин замечает: *"История ошибок совершенно неважна"*.<sup>[128]</sup> Это может быть достаточно верно в отношении абстрактного прогресса науки, но, несомненно, история ошибок представляет высочайший интерес для любознательного исследователя человеческого разума.

Но ни любопытство, ни даже исследовательский пыл не продвинутся далеко, если не будут подкреплены привычкой к огромному и настойчивому трудолюбию. Важны не эффектные всплески, а всплески применения в течение нескольких недель или месяцев. Это долгий,

кропотливый непрерывный труд, подобный тому, которым занимаются тысячи ученых в сотнях лабораторий, без перспективы отличия, без надежды на немедленное вознаграждение, просто из чистой любви к самой работе. И этот тяжелый труд затрачивается не только на практические изобретения, которые, как ожидается, дадут сравнительно быстрые и часто поразительные коммерческие результаты, но и на чистую науку, абстрактное исследование умозрительных проблем, которые, даже если и будут решены, ни в малейшей степени не изменят практических условий жизни. Хотя Дарвин иногда сомневался в разумности того, что он потратил столько лет на своих мелких рачков, он знал, что эта работа была для него чрезвычайно ценной с точки зрения чистой дисциплины труда. Во всяком случае, это научило его глубокому и искреннему уважению к тем, кто выполнял такую работу стабильно, бодро, нескончаемо, не оглядываясь ни на что другое: "Он никогда бы не позволил, чтобы пренебрежительное замечание прошло бесследно в адрес беднейшего класса научных работников, при условии, что их работа была честной и хорошей в своем роде".[129]

Бывают моменты, когда труд привлекателен, когда вы чувствуете, что вам нравится только он и ничего больше, и готовы погрузиться в него с неистовым рвением. Бывают и другие моменты, когда вы подавлены и обескуражены, когда труд кажется бесполезным, а усилия невозможными, или когда у вас есть явное желание совсем бросить его и пойти поиграть. Сэр Вальтер Скотт, один из величайших тружеников мира, рассказывает нам, что если кто-нибудь ставил перед ним задачу, даже приятную саму по себе, результатом немедленно становилось безграничное желание заняться чем-то другим. Настоящий дух трудолюбия проявляется в том, чтобы выдерживать эти периоды уныния и рассеянности, и работник, который добивается успеха, - это тот, кто не обращает на них внимания. Одна из поразительных черт Дарвина заключается в том, что он всю свою жизнь продолжал работать в этом духе, несмотря на все ограничения и препятствия, и был чистым любителем в лучшем смысле этого слова. Это правда, что он сам указывает, каким преимуществом для него было не быть профессионально привязанным к каким-либо обязанностям: "Если бы у меня были какие-то регулярные обязанности, как у вас с Хукером, я бы ничего не делал в науке".[130] Но верно и то, что мало кто из людей с большим количеством денег, с большим количеством соблазнов к развлечениям любого рода, придерживался бы выбранной работы с таким рвением, а также долгой и упорной системы, которой Дарвин придерживался до конца.

Ибо терпение так же необходимо истинному ученому, как и трудолюбие. Когда вы думаете, что получаете новые факты, открытия, которые потрясут мир и, возможно, повлияют на практическую жизнь миллионов, возникает естественный импульс провозгласить их, возникает спешка, рвение, желание награды, признания, материального успеха. Или есть страх ожидания, что кто-то другой может работать в том же направлении и прийти раньше вас, и вся ваша слава будет отнята. Эти соображения должны быть полностью отброшены. Медленные, обдуманые процессы природы должны быть приняты и ожидаемы. Если требуются годы для разработки экспериментов, которые приведут или даже могут привести к желаемым результатам, тогда вы должны принять эти годы, не торопясь, не беспокоясь, с уверенностью, что работа в конце концов будет выполнена и что для мира или будущего не имеет значения, сделано ли это вами или кем-то другим.

А с терпением приходит осторожность, решимость не сообщать результаты до тех пор, пока вы их не подтвердите, не преувеличивать и не придавать им форму, вводящую в заблуждение. В практической жизни необходимость действовать немедленно часто превращает осторожность

в опасную роскошь, и те, кто колеблется и спорит слишком долго, склонны приходить слишком поздно или не приходить вообще. Необходимо учитывать определенное количество случайностей и опасностей. Но прелесть этих более обширных интеллектуальных областей научной мысли в том, что вы можете спокойно ждать, пока все сомнения и ошибки не будут устранены. Урок умеренности трудно усвоить. Самые лучшие и осторожные никогда не чувствуют, что они изучили это досконально: 'Этот предмет начал интересовать меня в необычайной степени, - говорит Дарвин, - но я должен стараться не впадать в свою распространенную ошибку - быть слишком умозрительным. Но пьяница с таким же успехом мог бы сказать, что выпьет немного, а не слишком много'.<sup>[131]</sup> И в другом месте, после того как годы придали его работе вес учениям опыта, он резюмирует то, что кажется ему одной из высших потребностей науки, если не высшей потребностью: "Простите меня за одно предостережение; как сказал Демосфен, "Действие, действие, действие" было душой красноречия, так что осторожность - почти душа науки".<sup>[132]</sup>

Кроме того, когда вы проводите такое широкое и тщательное тестирование и проверяете свою точку опоры перед каждым сделанным шагом, вы начинаете осознавать огромные возможности различных точек зрения. Единственное, чего боится настоящий ученый, - это неподвижности, позитивности. Природа вечно подвижна и гибка, и те, кто хочет следовать за природой, изучать ее и интерпретировать ее, должны приветствовать ее гибкость и подражать ей. Они должны быть в любое время готовы признать различные аспекты и фазы одного и того же факта или группы фактов и готовы принять различные выводы в меняющемся свете, в котором эти факты рассматриваются. Как замечательно выразился профессор Уайтхед: 'Наука еще более изменчива, чем теология. Ни один человек науки не мог безоговорочно присоединиться к верованиям Галилея, или к верованиям Ньютона, или ко всем своим собственным научным верованиям десятилетней давности'.<sup>[133]</sup> Как я прочитал в превосходной статье в области научных исследований, сильно отличающейся от дарвиновской, филологии и исправления классических текстов: "При исправлении этих отрывков мы должны принять метод исследования Пастера — исчерпать все комбинации, которые человеческий разум способен постичь".<sup>[134]</sup>

Эта беспристрастность, эта широта взглядов, эта готовность рассмотреть, если не принять, все предположения и все теории сравнительно легки, когда человек безразличен. Если мотивом чьего-либо расследования является простое любопытство, и у человека нет доктрины, которую нужно устанавливать, нет тезиса, который нужно защищать, непредубежденность легка и естественна. Но человек науки инстинктивно формирует теории, и когда теория уже сформирована, у человека возникает импульс поддерживать ее и рассматривать только те аргументы и даже те факты, которые ее подтверждают. Как мы видели, именно здесь едва ли не больше, чем где бы то ни было, пример Дарвина имеет непреходящую ценность. Ни один человек не мог быть более привязан к теории, чем он был привязан к своей. И все же он был полон решимости, насколько на это способна человеческая природа, сохранять свой разум открытым и не позволять своим предубеждениям влиять на его наблюдения или рассуждения. Постановка вопроса Хаксли бесспорно верна, когда он говорит о "проницательности Дарвина, его неустанном поиске знаний о фактах, его готовности всегда отказаться от предвзятого мнения в пользу того, что было доказуемо истинным".<sup>[135]</sup> И Дарвин в другой своей простой, поразительной фразе обобщает все, что означает непредубежденность, а также ее трудность и редкость (курсив мой): "Если вы спорите о непринятии естественного отбора, мне кажется очень поразительным тот факт, что естественный отбор был очевиден". Ньютоновская теория

тяготения, которая сейчас всем кажется такой определенной и ясной, была отвергнута таким необычайно способным человеком, как Лейбниц. *Истина не проникнет в озабоченный ум.*'[136]

Наконец, среди этих более безличных элементов научного духа особое место следует уделить качеству готовности признать свое невежество. В наш век всеобщего невежества большинство мыслящих людей более или менее осознают свой недостаток, но поскольку мы, естественно, больше ценим свой собственный недостаток, чем недостаток других, первым побуждением является отчаянная попытка скрыть его. Возможно, из всех состояний ума одним из наиболее враждебных научному духу и наиболее несовместимых с ним является педантизм, а одним из наиболее существенных элементов педантизма является именно эта склонность скрывать свое невежество, предпринимать самые решительные попытки скрыть от других тот факт, что мы такие же беспомощные, бредущие ощупью и неуверенные, как они. Это, как правило, является пороком профессии учителя, хотя очень многие учителя славным образом освобождены от него. Педагог склонен думать, и я полагаю, совершенно ошибочно, что если он однажды покажет своим ученикам, что есть что-то, чего он не знает, они навсегда потеряют к нему доверие, тогда как ничто так не укрепляет их уверенность, как понимание его готовности вникнуть в их трудности и признать, что трудности - дело рук человека и его собственных.

В любом случае, истинный человек науки начинает с признания необъятности областей, в которые он не входил и никогда не сможет войти, безграничных областей знания, исследовать которые у него нет ни времени, ни подготовки. И ни один человек никогда не был более примечателен в этом признании, чем Дарвин. Существует общее признание пределов человеческого знания и человеческой способности к познанию: "Чем больше человек думает, тем больше он ощущает безнадежную необъятность человеческого невежества".[137]

Существует признание, так сказать, затвердения ментальных артерий, из-за которого наша гибкость так сильно ослабевает и от которого мы не можем достаточно защититься: "почти все люди, достигшие среднего возраста, будь то в реальных годах или в уме, я полностью убежден, неспособны смотреть на факты с новой точки зрения".[138] Далее, возникает не только ощущение общего интеллектуального бессилия, но и признание того, что даже в своей собственной области человек неизбежно должен упустить многое, многое из того, что должно если не опровергнуть его выводы, то, по крайней мере, сделать их сомнительными и склонить к крайней скромности в их утверждении. Несомненно, особый характер работы Дарвина, который вынудил его затронуть самые разные научные области, подчеркивал эту скромность позиции, но никто не может усомниться в том, что она была врожденной: "Существует так много веских аргументов против моих представлений, что вы или любой другой, если хотите, с другой стороны, легко убедите себя, что я полностью заблуждаюсь, и, без сомнения, я ошибаюсь частично, возможно, полностью, хотя я не могу видеть слепоту своих путей".[139] Когда человек стремится к истине в таком духе, у него гораздо больше шансов найти ее и, во всяком случае, преподать миру ценные уроки, независимо от того, найдет он ее или нет.

## II

Теперь рассмотрим более личные качества научного духа, то есть те, которые влияют на человеческие отношения. Естественно, никто не претендует на то, что все ученые обладают этими личными качествами, ни на большее, чем уже указанные качества. Люди науки такие же люди, как и все мы, и в высшей степени подвержены слабостям, которые есть у всех нас. Иногда

даже они кажутся более ответственными, возможно, потому, что безличность их профессии выделяет личные слабости. Но такие слабости, очевидно, не являются результатом научного духа, а возникают вопреки ему, и его высшей тенденцией должно быть их уменьшение или ограничение.

В этой личной и общечеловеческой связи интересно наблюдать, как научные качества перерастают в добродетели, в какой-то степени сродни христианскому идеалу. Например, признание невежества, на котором мы настаивали, должно сопровождаться в высшей степени христианской добродетелью смирения. Когда вы угнетающе осознали, как мало вы знаете, как далека ваша информация от адекватности, а ваши выводы от окончательности, невозможно сохранять дух высокомерия или самоутверждения. Вы обращаетесь к другим за их согласием и поддержкой в тоне замечания Гете о том, что он чувствовал себя чрезвычайно укрепленным в своем заключении, если обнаруживал, что хотя бы один другой человек согласен с ним. Или, как выразился Дарвин: "Хотя я, конечно, верю в истинность моей собственной доктрины, я подозреваю, что никакая вера не является яркой, пока ее не разделят другие".<sup>[140]</sup> По-настоящему научный работник должен быть готов прислушаться к мнению своих коллег и немедленно отказаться от своего собственного, когда убедится, что их мнение основано на более широких наблюдениях или более веских аргументах.

Со смирением тесно связана терпимость, и эта добродетель также проистекает из признания невежества почти как необходимости. Если вы осознали свои ограничения и то, что ваши знания настолько же неполны, насколько опасны ваши выводы, вы всегда будете готовы признать, что другие могут быть правы, а вы можете ошибаться, и вы будете мягко относиться даже к тому, что кажется их ошибками. "Истинная наука обязательно несет в себе терпимость", - говорит Вольтер.<sup>[141]</sup>

Конечно, упоминание Вольтера в связи с терпимостью скорее вызывает улыбку, ибо если он боролся за терпимость, как и за другие вещи, то боролся упорно и ожесточенно, и он всегда за что-то боролся. И в целом вполне можно утверждать, что история научной мысли демонстрирует что угодно, только не терпимость и мягкость. В самом деле, иногда кажется, что ученые - это на редкость язвительное и раздражительное поколение, склонное к тому, что обычному уму едва ли кажется достаточным оправданием. Сам Дарвин ценит эту прискорбную тенденцию и часто сожалеет о ней: "Как странно, забавно и позорно почти все это ... наши великие люди ссорятся куплетами".<sup>[142]</sup>

Но и здесь человеческая природа, в ее врожденной слабости и самодовольстве, порождает ссоры, а научный дух, взятый сам по себе, безусловно, имеет тенденцию успокаивать и снисходить. В одном из своих самых последних писем Дарвин писал: "Вы показали, как человек может отличаться от другого самым решительным образом, и все же выражать свое отличие с самой совершенной вежливостью. Немало английских и немецких естествоиспытателей могли бы извлечь полезный урок из вашего примера; ибо грубый язык, часто используемый учеными по отношению друг к другу, не приносит пользы и только унижает науку".<sup>[143]</sup> Но человечеству трудно усвоить, а когда оно научится запоминать, глубокую истину, выраженную в высказывании Эдмонда Шерера относительно терпимости: "Фундаментальная догма нетерпимости заключается в том, что существуют догмы, а терпимости - в том, что существуют только мнения".

А терпимость, простое признание того, что другие могут быть правы, а мы ошибаемся, даже в отношении наших самых заветных теорий, когда она освещается ясностью разума и подогревается симпатией, легко переходит, как мы видели на примере Дарвина в предыдущей главе, в самую восхитительную из всех добродетелей, или, точнее, в корень всех добродетелей, в силу и инстинкт ставить себя на место других, входить в их жизнь. Недостаточно уважать чужое мнение или даже считаться с ним. Нужно идти дальше и попытаться понять, как они приходят к ним, а для этого нужно постоянно осознавать огромную общность человеческой природы и бесконечные нити, которые связывают воедино наши сердца и сердца даже тех, кто кажется наиболее непохожим на нас. Именно эта сила понимания, это усилие понять точку зрения других приводит к удивительной мягкости тона, которая составляет большую часть очарования Дарвина: "Вы ошибаетесь, думая, что я когда-либо говорил, что вы неправы по какому-либо пункту. Все, что я имел в виду, это то, что по некоторым пунктам, и по этим очень сомнительным пунктам, я был склонен расходиться с вами".<sup>[144]</sup> Очевидно, что в спорах, в дискуссиях Дарвин всегда стремился понять позицию своего оппонента и для этого полностью поставить себя на место своего оппонента.

Наука сама по себе способствует формированию и поощряет эту склонность вступать в жизни других, потому что на ее абстрактном характере и его более крупные цели и интересы он склоняется, чтобы уменьшить как можно больше элементов, и корысти и самоутверждения. Действительно, и здесь любопытно видеть, как, когда стремление к научной истине достигает наивысшей интенсивности и белого каления пыла, это приводит к своего рода самоотречению, которое приближается к мистическому самоотречению христианского экстаза и предполагает его. Он оставит все и последует за мной, говорит религия. И мы видели нечто в том же духе в явно более холодном заявлении Дарвина о том, что у человека науки не должно быть ни жены, ни ребенка, но каменное сердце и мозг, совершенно свободный для обширных абстрактных исследований, которые составляют всю его жизнь.

Действительно, есть что-то почти религиозное в страсти, с которой истинный ученый отбрасывает все личные соображения, часто все соображения комфорта, непринужденности и праздного наслаждения, во всепоглощающем усилии достичь чистой истины, которую он ищет. С какой силой восторга человек отбрасывает за спину старое заблуждение. Как выразился Дарвин: "Искоренение ошибки - такая же хорошая услуга, как и установление новой истины или факта, а иногда даже лучше, чем это".<sup>[145]</sup> С каким восторгом осознаешь прогресс научной мысли: "Как велик стремительный рост науки; этого достаточно, чтобы утешить нас за множество ошибок, которые мы совершили, и за то, что наши усилия заслоняются и забываются в массе новых фактов и новых взглядов, которые появляются ежедневно".<sup>[146]</sup>

Нет нужды говорить, что тысячи других людей, помимо Дарвина, заражены этим восторгом, причем в такой же или даже большей степени. На заре научной мысли мы имеем Лукреция, никто и никогда не был более пылким, чем он, ликующим в своем страстном стремлении пробиться лучами интеллектуального света сквозь клубящийся, удушающий туман ошибок и заблуждений. Или, опять же, в наше время мы испытываем такое волнение, которое описано Пастером, во многом близким к Дарвину, когда он чувствует, что находится на пороге открытия: "Я был так счастлив, что меня охватила нервная дрожь, из-за которой я не мог снова поднести зрение к поляризующему аппарату".<sup>[147]</sup>

Таким образом, стремление к чистой истине и посвящение своей жизни ее достижению возвышает, проясняет и наказывает, почти как стремление к добродетели, и эти два явления даже сливаются друг с другом, как в благородном высказывании Гете: "Настоящая любовь к истине проявляется в том, что человек знает, как находить и лелеять добро повсюду". Или завершим другим предложением Дарвина, еще более впечатляющим своей простотой и сдержанностью: "Что касается меня, то я бы, однако, занял более высокую позицию, поскольку я верю, и я чувствую внутри себя инстинкт истины, или знания, или открытия чего-то такого же по природе, как инстинкт добродетели, и наличие у нас такого инстинкта является достаточной причиной для научных исследований без каких-либо практических результатов, когда-либо вытекающих из них".[148]

### III

Представляется интересным рассмотреть один или два типа научного духа в русле, совершенно отличном от дарвиновского. Есть Сент-Бев, о котором я упоминал в предыдущих главах. Великий французский критик был почти ровесником Дарвина, родившись в 1803 году и умерев в 1870-м. Я не обнаружил, чтобы он когда-либо упоминал книги Дарвина, хотя, должно быть, что-то знал о них. В любом случае, он превосходно воплощает многие научные методы и качества, огромное любопытство, исследования, трудолюбие, терпение, страсть видеть все стороны и учитывать все точки зрения. Только его интересовали не растения и животные, не материальный эволюционный мир, а тонкие фазы, мотивы, страсти и развитие человеческого духа. Он изучал человеческую жизнь и характеры с бесконечным любопытством, и результаты его исследования воплощены в сорока томах портретов и семи солидных томах истории монастыря Порт-Ройял, одном из самых глубоких и вдумчивых исследований религиозной психологии, которые когда-либо проводились. Сам Сент-Бев любил сравнивать свою работу с исследованиями более узконаправленных ученых. Я цитировал ранее его краткое заявление: "Я анализирую, я собираю гербарии, я натуралист душ".[149] И в другом месте он формулирует это более подробно: "Это абсолютно то же самое, что в ботанике для растений и в зоологии для видов животных. Существует нравственная естественная история с методом (пока еще едва разработанным) естественных семейств душ".[150] И он любил анализировать души всех видов, хорошие и плохие, сильные и слабые, счастливые и несчастные, анализировать, сравнивать и классифицировать их, выявлять в них глубокие общие элементы человеческой природы под бесконечной игрой и разнообразием поверхностных различий.

Особенно интересно наблюдать у Сент-Бева, как и у Дарвина, за работой и усложнением научного духа с более личными элементами. Сент-Бев сделал гораздо более определенное утверждение, чем Дарвин, о принесении в жертву личной жизни ради научных целей. Француз хвастался, что он общался со всевозможными группами и связывал себя со всевозможными причинами и переживаниями не из преданности самим вещам, а из чистого любопытства и страсти к анализу действия этих причин в умах людей. Он зашел в этом так далеко, что его часто обвиняли в нелояльности к своим друзьям и в том, что он поддерживал их, а затем бросал их, и он сам защищал свою субъективную позицию таким образом, чтобы дать некоторое обоснование обвинению. По его словам, его жизнь, его мысли, его работа были совершенно безличными, и в результате его эпиграмматически заклеили за предательство всех истин ради истины.

С другой стороны, совершенно очевидно, что некоторые личные черты сохранились в нем гораздо больше, чем он думал или признавал. Его ранним стремлением, его неугасающим стремлением было стать поэтом. Как поэт он потерпел неудачу, по крайней мере, не добился популярности или заметного успеха. Он видел, как пылкие современники и близкие соратники его юности, Гюго, Ламартин, Бальзак, Санд, Мюссе, завоевывали большую популярность, в то время как он был вынужден тащиться в сравнительной тени; и, несмотря на всю его хвастливую безличность, это в определенной степени озлобляло его. Глубокое понимание, высокая интеллектуальная беспристрастность, которые отличают его, когда он имеет дело с прошлым, в какой-то мере ослабевают, когда он обсуждает современные работы, и вы не можете не чувствовать, что ему бессознательно мешает и мучает ревность, от которой Дарвин был полностью и благородно свободен.

Но что больше всего отличает работу Сент-Бева, как я уже подчеркивал в другом месте, и что отличает его от Дарвина и многих других выдающихся ученых, так это ее необычайная конкретность. Конечно, у него был обширный опыт общей интеллектуальной подготовки и знакомства с общими мыслями и принципами. Но, всегда инстинктивно присутствуя в нем, он посвятил себя непосредственно изучению отдельных людей. Лишь изредка он участвует в обсуждении теорий любого рода, и тогда его обращение, как правило, бывает настолько сложным, что вы чувствуете, что он находится не в своей тарелке. Что завораживает и поглощает его, так это бесконечное, пристальное, тщательное, сочувственное изучение отдельных мужчин и женщин, и только потому, что ему не мешают теории, у него нет целей, которых нужно достигать, и пунктов, которые нужно доказывать, исследование бесконечно разнообразное, гибкое, подвижное, адаптируемое и глубоко, неисчерпаемо человеческое. Непрерывное, плодотворное применение научного метода никогда не было лучшим примером, чем в работах Сент-Бева.

Или, если взять другой, более широкий тип научного духа, возможно, один из самых благородных и светлых, когда-либо существовавших, - Гете. Гете был на полвека старше Сент-Бева и Дарвина, но он жил задолго до их эпохи, и для ясности научного мышления девятнадцатого века нельзя было найти лучшего примера, чем он. Его настоящая научная работа далека от презрения, и он в какой-то степени предвосхитил Дарвина в том, что касается возможностей метаморфоз в мире природы. Его рассуждения о теории света, противоречащие рассуждениям Ньютона, свидетельствуют, по крайней мере, об активном и энергичном интеллекте.

Но ценность Гете для научного духа основывается на гораздо более широких основаниях, чем любая простая деталь научного исследования или эксперимента. Никто так не культивировал и не практиковал больше, чем он, отношение огромного, непредвзятого любопытства, страстного поиска и наслаждения чистой истиной, независимо от всех партийных соображений, последствий или практического применения. Именно эту духовную широту имеет в виду Мэтью Арнольд, когда называет Гете величайшим поэтом своего времени и величайшим критиком всех времен. Свободная, широкая, обильная, подвижная работа человеческого интеллекта никогда не находила более яркого представителя, чем Гете, и повсюду в его сочинениях есть отрывки, которые помогут любителю истины, в то время как чистую суть его ментального настроения можно найти в сборнике 'Максимы и размышления', который дает ядро мудрости без несколько затасканной тевтонской оболочки расширения, в которую Гете часто был склонен ее заворачивать.

В высшей степени любопытно, помня о слабостях Сент-Бева, на которые я уже ссылался, прочитать все его многочисленные комментарии о Гете, но особенно следующие: 'Гете понимал все во вселенной — все, за исключением, возможно, двух вещей: христианина и героя. Здесь была слабость, которая относилась к сфере сердца. Кажется вероятным, что он считал Леонида и Паскаля, особенно последнего, *чудовищами* в порядке вещей природы".[151] И Сент-Бев гордился тем, что понимал и христианина, и героя одновременно, и вполне вероятно, что понимал.

Интересным моментом у Гете, а также в меньшей степени у Сент-Бева, по сравнению с Дарвином, является то, что полное развитие научного духа у них обоих не сопровождалось тем духовным упадком, которым, как думал Дарвин, это повлияло на него. Никогда на свете не было человека, который был бы более восприимчив к красоте, чем Гете, и его страсть к чистой правде не помешала ему сохранить высочайшее чувство художественного экстаза на протяжении всей его долгой жизни. И у него, и у Сент-Бева вряд ли можно было сказать, что мышление предшествовало эмоциям, поскольку оба они обожали несравненную красоту формы и тот восторг, который сопровождал ее до самого конца.

С другой стороны, ни Гете, ни Сент-Бев ни на минуту не могут сравниться с Дарвином в той невыразимой мягкости и простом обаянии, которые вызывали у него любовь всех, кто с ним соприкасался, и которые сквозят в его письмах и даже в его более формальных научных работах.

Одной из поразительных черт Сент-Бева является то, что он полностью осознавал всепоглощающую природу научного духа, но в то же время понимал, что стремление к знаниям не обязательно приносит счастье. Никто не выразил бесплодную безысходность земной жизни с большей едкостью, чем он. Шекспир говорит нам, что зрелость - это все. Сент-Бев сомневается, существует ли оно. 'Созреет?' он плачет. "Созреет?" Мы никогда не созреваем. В одних местах мы черствеем. В других мы гнием. Мы никогда не взрослеем".[152] Годы приносят с собой — для него — полное безразличие ко всему и вся: "Я пришел в жизни к полному безразличию: если я что-то делаю утром и куда-то иду вечером, в жизни для меня больше ничего нет".[153] И снова жизнь - это не что иное, как укол одной иллюзии за другой, пока человек с горечью не убеждается, что ни одна иллюзия не стоит того, чтобы ее уколоть. Как он резюмирует это в яркой цифре: 'Почему я больше не люблю природу, деревню? Почему я больше не люблю ходить по маленькой тропинке? Я хорошо знаю, что тропинка та же самая, но *по другую сторону изгороди больше ничего нет*. В старые времена редко что-нибудь было, но всегда что-нибудь могло быть".[91]

Это правда, что меланхолия и отвращение Сент-Бева тесно связаны, как он сам признает, с грубыми сексуальными расстройствами его безбрачной карьеры, и он говорит о "неизлечимом отвращении ко всему, что свойственно тем, кто злоупотреблял источниками жизни".[92] В последние годы жизни у него, похоже, не было никаких принципов сексуального сдерживания вообще, и он так же свободно предавался неразборчивым коммерческим увлечениям, как Пепис или Аарон Берр, хотя в нем не было ни веселого самозабвения Берра, ни угрызений совести Пеписа. Он провозглашает циничным кредо свой метод поиска мудрости: 'Подобно Соломону и Эпикуру, я проложил свой путь к философии через удовольствие. Это лучший путь, чем двигаться вперед с помощью логики в духе Гегеля или Спинозы".[93] И общая философия

была сродни философии Соломона. 'Сент-Бев сказал мне, ' вспоминает Гонкур, - что нужно объехать все и ни во что не верить. Нет ничего реального, кроме женщины".[94] Соломон вряд ли сделал бы исключение. Любопытно, что, несмотря на всю эту оставленную личную распущенность, Сент-Бев в своих критических суждениях сохранил самую тонкую чувствительность к моральному совершенству в сексуальной сфере, как и во всех других.

Когда мы обращаемся к Гете, мы находим, возможно, немногим больше уважения к сексуальной морали, чем у Сент-Бева, но, во всяком случае, темперамент гораздо более уравновешенный и, судя по всему, заряженный и прославленный лучезарной безмятежностью. Однако и у Гете научный дух, хотя и обогащенный восторгом художника и его творческой силой, не мог принести счастья в своем черед. Печали и страдания Вертера, возможно, можно было бы отнести к расточительности молодости. Но в глубокой старости мы слышим, как Гете провозглашает пустоту и несчастье жизни в выражениях почти столь же горьких и полных, как у Сент-Бева или Анатоля Франса. 'Я ничего не скажу, ' сказал он Эккерману, ' против хода моего существования. Но, по сути, это была не что иное, как боль и бремя, и я могу подтвердить, что за все мои 75 лет у меня не было и четырех недель подлинного благополучия. Это всего лишь вечное вращение камня, который должен быть воздвигнут снова навсегда".[95]

Насколько нам известно, у Дарвина не было сексуальной причины для душевных расстройств, и его научные занятия, очевидно, вызывали у него интерес и восторг. Но мы видели, как сильно даже Дарвин жаловался на то, что поглощенность наукой задерживает и атрофирует высшие стороны духовной природы. Работа была в значительной степени средством забыть о жизни, и когда работа не удалась, кладбище Даун стало необычайно привлекательным. Стремление к истине само по себе, каким бы волнующим и всепоглощающим оно ни было, может показаться чем-то ненормальным и нездоровым, и утешение Паскаля о ничтожности человека, подобной тростинке, мыслью о том, что он "мыслящий тростник", звучит немного холодно и утешительно, даже с рассуждениями Шерера о величии 'мечты, которая осознает себя мечтой, мысли, которая мыслит сама себя'. Окончательная пустота и тщетность, которые порой кажутся присущими самому глубокому поиску истины, никогда не были выражены так величественно, как в словах, которыми Сент-Бев завершает свою обширную историю Порт-Рояля: 'Я был и остаюсь всего лишь исследователем, искренним наблюдателем, внимательным и скрупулезным.... Я был на свой манер человеком истины, насколько я был в состоянии достичь этого. Но как мало это лучшее, чего мы можем достичь! Насколько ограничено наше видение и как быстро оно достигает своего предела! Это подобно бледному факелу, зажженному на мгновение посреди огромной ночи. И тот, кому больше всего нравилось знать свой предмет, у кого было самое горячее желание овладеть им и величайшая гордость за обращение с ним, больше всего чувствует себя бессильным и не справляющимся со своей задачей в тот день, когда, видя, что она почти завершена и результат получен, опьянение властью покидает его, окончательное истощение и неизбежное отвращение захлестывают его, и он понимает, что он тоже всего лишь иллюзия, самая мимолетная на фоне Иллюзии, которая бесконечна.[96]

#### IV

И, конечно, никто не утверждает, что ученые в целом несчастливы, что было бы абсурдно. Напротив, вполне вероятно, что при бесконечном разнообразии и утешении своих занятий они склонны быть необычайно довольным и жизнерадостным классом людей. Есть пронзительное высказывание Вольтера, который был полон научного духа, как и большинство других: "Учеба

утешает во всем".[97] А Монтескье выражает его более обобщенно: "У меня никогда не было печали, которую не рассеяли бы полчаса чтения", и снова, с более конкретными уточнениями: "Любовь к учебе - это почти единственная страсть, которая вечна в нас; все остальные терпят неудачу, поскольку эта жалкая машина, которая их поддерживает, все больше и больше приходит в упадок".[98]

Однако для основной массы человечества, несомненно, научного духа и чистого стремления к истине недостаточно, и абстрактная мысль о них оставляет пустоту, которую может заполнить только настойчивое, сосредоточенное действие. Мы живые, движущиеся, действующие существа, и для большинства из нас знание, мышление, кроме как как средство существования, неадекватно, бесплодно и, по сути, вызывает недовольство. Как выражает это Йорик Стерна в своей домашней, подчеркнутой манере: "Я думаю, что рождение детей так же полезно для мира, как и определение долготы".[99] 'Я сделаю, и я сделаю, и я сделаю', - кричит ведьма в 'Макбете'. Это естественный, всеобщий, преобладающий призыв человечества: делать, делать, делать до конца — и что тогда? Это учит не спрашивать.

И есть еще один момент, который заключается не только в том, что слишком много абстрактного знания не помогает в действии: оно склонно мешать. В частности, научная добродетель признания невежества далека от того, чтобы приносить пользу в практической жизни. Лучшее из дел, наилучших действий, несомненно, инстинктивно, вытекает быстрыми, незаметными процессами из огромного подсознательного хранилища нашего существа. Высшей иллюстрацией этого является достижение спортсмена. Понаблюдайте за сложными действиями высококвалифицированного бейсболиста. Дюжина сложных взаимосвязанных движений выполняется с уверенной, неизменной скоростью, любое из которых было бы совершенно сбито с толку при малейшей попытке проанализировать его со стороны игрока, который обычно не склонен к такому анализу именно в соответствии со своим практическим мастерством.

И то же самое практически в той же степени проявляется в том, что может показаться более интеллектуальными направлениями практических действий. Солдат, деловой человек, государственный деятель - все они, без сомнения, требуют огромных и компетентных детальных знаний в своих конкретных профессиях. Но и здесь слишком тщательный анализ, слишком любопытное исследование мотивов, процессов, альтернатив и возможностей скорее вредят, чем помогают. Чистый мыслитель слишком часто склонен восклицать с ужасом Гете: "Нет ничего страшнее активного невежества".[100] И все же девять десятых мировой работы совершается, иногда эффективно, иногда с запинками, но совершается активным невежеством, и иначе быть не могло. Мыслитель, глубокий аналитик спорит, колеблется, спотыкается и слишком часто ничего не достигает.

Возможно, что не только в области мышечных усилий, но и во всех практических действиях наилучшие результаты достигаются сравнительно инстинктивными методами. Тем не менее, очевидно, что целенаправленное сознательное рассуждение является важным инструментом в работе делового человека. Кроме того, разум, связывание мыслей посредством сложных логических процессов, является главным проводником научного духа. В предыдущей главе мы анализировали опасности и предательство разума. Но величайшее предательство из всех - это когда разум обращается против самого себя и тратит свои блестящие, величественные силы на самоанализ, вместо того чтобы добиваться успехов в практическом мире. Яркие примеры тому -

такие умы, как Сенанкур, Мэн де Биран, Амьель, люди, от природы подготовленные для свершения великих дел, но в которых сила гения парализована постоянным самоанализом средств и методов, с помощью которых действует гений. Как выражает это Амиэль: 'Временами я также испытываю безумную ярость к жизни, отчаянный порыв ухватиться за счастье, но гораздо чаще - полную протрацию и безмолвное отчаяние. И откуда это берется? От сомнения в собственном разуме, в себе, в людях, в жизни, от сомнения, которое ослабляет волю и разрушает силы, которое заставляет забывать Бога, забывать молитву, забывать долг, от беспокойного и разъедающего сомнения, которое делает существование невозможным и превращает надежду в жуткую насмешку'.<sup>[101]</sup>

Возможно, разум предлагает самую любопытную из всех антиномий или внутренних противоречий, которые возникают, когда кто-то стремится развить физическую, умственную и моральную природу человека на эволюционной основе, исходя из фундаментального инстинкта самосохранения. Меньшей, но поразительной формой этого внутреннего противоречия является, например, привычка к бережливости, которая естественным образом объясняется как тенденция к самозащите, однако в своих грязных крайностях может скорее разрушать жизнь, чем продлевать ее. Или, опять же, существуют странные противоречия, связанные с социальным инстинктом. Как это видно на примере насекомых или стадных групп низших животных, основа самосохранения достаточно очевидна, и с помощью нескольких приемов простительной изобретательности можно поставить все человеческие привязанности и преданность на тот же фундамент. И все же в конце концов человек приходит к удивительному парадоксу: инстинкт самосохранения развил в нем преданность другим настолько, что человек может быть готов отдать свою жизнь за своего друга или даже за тех, кто ему не друзья. Но крайность всех этих противоречий, если принять эволюционное развитие разума, заключается в том, что этот чудесный инструмент должен быть создан для сохранения личности, и все же его конечная работа должна заключаться в том, чтобы показать, насколько совершенно ничтожен, жалок и недостоин сохранения этот самый индивид.

Другой слабостью научного духа и проклятием его страсти к истине является трудность, если не сказать невозможность, когда-либо достичь ее. В деталях научных исследований это, возможно, не является злом, а трудности - всего лишь великолепный стимул к постоянно возобновляющимся усилиям и достижениям. Но когда дело доходит до более глубоких и фундаментальных вопросов, трудность становится более серьезной, и если можно справедливо сказать, что человек устает от всего, кроме понимания, от неспособности понять устает больше, чем от чего-либо другого. В конце концов, есть только две вещи, которые действительно важно знать: себя и Бога. И именно в отношении них невозможность окончательного знания больше всего подавляет нас. На грубом языке старого Бена Джонсона: "Я не знаю болезни души, кроме невежества; не в искусстве и науках, а в самом себе".<sup>[102]</sup> А грек за две тысячи лет до Бена Джонсона ярко выразил ту же достаточно очевидную идею: "Многие вещи темны для человека, но самое темное из всего - это его собственная душа".<sup>[103]</sup>

Именно в этой невозможности достичь истины в предельных вещах фундаменталисты находят оправдание своим попыткам контролировать ее поиск. 'Вы говорите нам,' говорят они, 'что все должно быть подчинено поиску истины. Вы подрываете безопасную, устоявшуюся мораль и традиции во имя истины. Тогда истина ускользает от вас, и в конце концов вы не можете предложить нам ничего, кроме тени и мечты. Принятые условности - это, по крайней мере, прочная основа для жизни. У вас нет ничего существенного, что вы могли бы нам предложить,

для каких бы то ни было целей и где бы то ни было.' И этот аргумент имел бы некоторую обоснованность, если бы врожденные движения великой природы когда-нибудь могли быть остановлены законами, законодательными органами или фундаменталистами.

Но, в конце концов, ценность невежества или, по крайней мере, знания о невежестве, которое присуще научному духу, заключается в очаровательных качествах, которые я указал ранее в этой главе, - терпимости, терпении, смирении, мягкости. Только для того, чтобы развить эти качества, признание невежества не должно быть агрессивным, воинственным. Пятьдесят лет назад такое признание было возведено в догматическую религию под названием агностицизм, торжествующее, воинствующее утверждение, что ни один человек ничего не знает об основных истинах и не может этого сделать, и этот догматизм был даже более раздражающим, чем другие догматизмы, потому что предполагалось, что он основан на позиции, по существу недогматичной. Истинное, плодотворное, приносящее пользу признание невежества вовсе не является догматичным или утверждающим. Это сугубо личное, начинается и заканчивается только моим невежеством и оставляет *ваше* невежество в покое. Это особенно верно и важно в век невежества, в который мы живем, в век, который накапливал общие знания с такой огромной скоростью, что ни один индивид не может претендовать на понимание большего, чем очень малая их часть. И все, что каждый из нас может сказать, это "я не знаю". Вы можете знать, он может знать, особенно если думает, что знает, что заходит так далеко, но я, я, я, увы, не знаю.

Агностицизм - слишком жестокое слово для обозначения этого чисто личного и бесконечно смиренного невежества. Даже скептицизм - слишком гордое слово, слишком философское. И все же скептицизм, если использовать его с осторожностью, возможно, сослужит хорошую службу за неимением лучшего. Но о скептицизме тоже часто забывают одну вещь. Всеобщее сомнение, несомненно, несет с собой привилегию всеобщей надежды. Мнимый скептик слишком склонен быть критичным и циничным, использовать свои сомнения просто для того, чтобы подорвать уверенность других людей, и всегда оставаться на темной стороне возможного. Но если что-то и может быть правдой, то, несомненно, правдой может быть прекрасное, доброе, радостное, привлекательное, а также мрачное и унылое.

И если привилегией скептицизма является надежда, то суть его - в вопрошании. Есть сомнение, которое в своем отчаянии от окончательной истины довольствуется пустяками, чтобы скрасить жизненные невзгоды шуткой, игрой и сиюминутным развлечением. Или же есть сомнение в более глубоких вопросах, которое, как и в случае с Дарвином, обращается к нетерпеливому, усердному исследованию простых, завораживающих деталей внешнего мира. Но есть также сомнение, которое живет в страстной, постоянной серьезности и неизменном, непреклонном, неукротимом усилии познать Бога, будучи уверенным, что без Него вселенная, со всем ее великолепием и всей ее бесконечной развивающейся славой, ничто, просто ничто. Такое сомнение выразится в словах, подобных словам современного поэта:

"День и ночь я широко блуждаю по пустыне мысли,

Ловлю изысканные причудливые вещицы, которые очень неохотно ловятся.

Блестящие клубки, ведущие в никуда, Я упорно распутываю,

Ступайте странными путями медитации, очень сложными для путешествия.

Мерцающие частички причудливого желания искушают меня выйти за рамки приличия.

Я путаю старую солидную славу со слишком недавней рекламой.

Но моя единственная неизменная навязчивая идея - куда бы ни ступали мои ноги,

- это острая, огромная, навязчивая, никогда не утоляемая жажда Бога".

КОНЕЦ

## КНИГИ ДАРВИНА С СОКРАЩЕНИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ССЫЛКАХ НА НИХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Имеется ссылка на американское исправленное издание, если не указано иное

Монография о подклассе Cirripedia.—Balanidae—Позвоночные.

Происхождение человека и отбор по признаку пола.

Различные формы цветков на растениях одного и того же вида.

Эффекты перекрестного и самооплодотворения в растительном царстве.

Краузе, Эрнст, Эразмус Дарвин (перевод с немецкого У. С. Далласа с предварительным уведомлением Чарльза Дарвина).

Выражение эмоций у человека и животных.

Образование растительной плесени под действием червей.

Геологические наблюдения.

Насекомоядные растения.

Журнал исследований естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного путешествия Х.М.С. Бигля.

Еще письма Чарльза Дарвина, два тома.

Движения и привычки вьющихся растений.

Происхождение видов.

Сила движения в растениях.

Изменчивость животных и растений при одомашнивании, два тома.

Различные приспособления, с помощью которых насекомые удобряют орхидеи.

Усоногие.

Происхождение.

Разные формы цветков.

Перекрестное и самооплодотворение.

Krause.

Экспрессия.

Черви.

Геологические наблюдения.

Насекомоядные растения.

Журнал "Бигль".

Еще письма.

Вьющиеся растения.

Происхождение.

Движение в растениях.

Животные и растения.

Орхидеи.

## КНИГИ БИОГРАФИЧЕСКИЕ И КРИТИЧЕСКИЕ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОМИНАЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ, С ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ

|                                                                                                                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Аристотель, "История животных", перевод Д'Арси Вентворта Томпсона.<br>Касл, У. Э. Генетика и евгеника.                                          | Historia Animalium.<br>Генетика и евгеника. |
| Конклин, Эдвин Грант, Направление эволюции человека.                                                                                            | Эволюция.                                   |
| Дарвин, Эмма, Столетие семейных писем, два тома.                                                                                                | Семейные письма.                            |
| Дарвин, Жизнь и письма Чарльза Дарвина, два тома.                                                                                               | Жизнь.                                      |
| Де Фриз, Хьюго, Виды и разновидности, их происхождение путем мутации.                                                                           | Виды и разновидности.                       |
| Гонкуры, Эдмон и Жюль, Гонкуровский журнал, девять томов.                                                                                       | Гонкуры, журнал.                            |
| Грей, Аса, Письма, под редакцией Джейн Лоринг Грей, два тома.                                                                                   | Письма Грея.                                |
| Грант Дафф, сэр Маунтстюарт Э., Заметки из дневника, четырнадцать томов, 1851-1901.                                                             | Грант Дафф.                                 |
| Хаксли, Томас Х., Дарвиниана (второй том Собрания сочинений).                                                                                   | Дарвиниана.                                 |
| Хаксли, Томас Х., Жизнь и письма его сына Леонарда, в двух томах.                                                                               | Хаксли, Жизнь.                              |
| Ричард Лалль, Гарри Берр Феррис, Джордж Ховард Паркер, Джеймс Роулэнд Энджелл, Альберт Гэллоуэй Келлер, Эдвин Грант Конклин, Эволюция человека. | Затишье.                                    |
| Морган, Томас Хант, Эволюция и адаптация.                                                                                                       | Эволюция и адаптация.                       |
| Осборн, Генри Фэрфилд, Земля говорит с Брайаном.                                                                                                | Земля говорит.                              |
| Осборн, От греков до Дарвина.                                                                                                                   | От греков до Дарвина.                       |
| Осборн, Генри Фэрфилд, Впечатления великих натуралистов.                                                                                        | Великие натуралисты.                        |
| Паркер, Джордж Ховард, Что такое эволюция.                                                                                                      | Что такое эволюция.                         |
| Пирсон, Карл, Грамматика науки.                                                                                                                 | Научная грамматика.                         |
| Торо, Генри, Журнал, четырнадцать томов.                                                                                                        | Дневник.                                    |
| Валлери-Радо, Пастер.                                                                                                                           | Валлери-Радо, Пастер.                       |
| Уоллес, Альфред Рассел, "Моя жизнь", два тома.                                                                                                  | Уоллес, "Жизнь".                            |
| Уайтхед, Альфред Норт, Наука и современный мир.                                                                                                 | Наука и современный мир.                    |

## Примечания

### ГЛАВА I: НАБЛЮДАТЕЛЬ

- [1] Гонкуровский журнал, 1 мая 1857 г., вып. I, стр. 182.
- [2] Бен Джонсон, Поэт, акт II, сцена 1.
- [3] Сентиментальное путешествие "На улице".
- [4] Portraits Littéraires, vol. III, стр. 546.
- [5] Выражение, стр. 80.
- [6] Торо, Журнал, том. VII, стр. 46.
- [7] Грей, Дарвину, 18 мая 1862 г., Грей, Письма, том. II, стр. 481.
- [8] Великие естествоиспытатели, стр. 51.
- [9] Еще письма, том. I, стр. 72.
- [10] Жизнь, том. I, стр. 83.
- [11] Фаррару, 26 ноября 1868 г., Life, vol. II, стр. 453.
- [12] К Хукеру, 1867, Другие письма, т. II, стр. 6.
- [13] Лайеллю, 1 июня 1867 г., Life, vol. II, стр. 248.
- [14] Уилсону, 29 апреля 1878 г., Другие письма, т. II, стр. 421.
- [15] Гальтону, ноябрь 1879 г., Life, т. II, стр. 414.
- [16] Лайеллю, 17 марта 1863 г., Life, т. II, стр. 201.
- [17] Гальтону, 8 ноября 1872 г., Другие письма, т. II, стр. 108.
- [18] Выражение, стр. 184.
- [19] Доктору Оглу, 12 марта 1871 г., Life, vol. II, стр. 321.
- [20] Еще письма, том. I, стр. 4.
- [21] Дженинсу, 17 октября 1846 г., Life, vol. I, стр. 396.
- [22] Журнал "Бигль", стр. 282.
- [23] Грею, 3 июня 1874 г., Лайф, т. II, стр. 457.
- [24] Хукеру, 11 декабря 1860 г., Life, т. II, стр. 148.
- [25] Скотту, 2 июля 1863 г., Еще письма, т. II, стр. 323.

- [26] Хорнеру, январь 1847 г., Еще письма, т. II, стр. 224.
- [27] Выражение, стр. 12.
- [28] Жизнь, т. II, стр. 238.
- [29] Еще письма, т. II, стр. 105.
- [30] Жизнь, том. I, стр. 40.
- [31] Разные формы цветов, стр. 189.
- [32] Визнеру, 4 октября 1881 г., Другие письма, т. II, стр. 432.
- [33] Жизнь, том. I, стр. 124.
- [34] Там же.
- [35] Жизнь, том. I, стр. 125.
- [36] Жизнь, т. II, стр. 453.
- [37] Cirripedia, стр. 155.
- [38] Лайеллю, 12 сентября 1860 г., Life, т. II, стр. 133.
- [39] Дарвиниана, стр. 275.
- [40] Хукеру, 4 февраля 1861 г., Лайф, т. II, стр. 153.
- [41] Лайеллю, 9 марта 1850 г., Еще письма, т. II, стр. 229.
- [42] Жизнь, т. I, стр. 125.
- [43] Жизнь, том. I, стр. 105.
- [44] Жизнь, т. I, стр. 80.
- [45] Жизнь, том. I, стр. 121.
- [46] Purgatorio, canto III.
- [47] Мисс С. Дарвин, 4 августа 1836 г., Лайф, том. I, стр. 237.
- [48] Хукеру, 1847, "Жизнь", т. I, стр. 317.
- [49] Еще письма, том. I, стр. 3.
- [50] Мисс К. Дарвин, 8 ноября 1834 г., Лайф, том. I, стр. 230.
- [51] Журнал "Бигль", стр. 78.
- [52] Жизнь, том. I, стр. 109.
- [53] Выражение, стр. 194.

- [54] Романесу, 29 мая 1876 г., Еще письма, т. I, стр. 364.
- [55] Фоксу, май 1832 г., Life, т. I, стр. 206.
- [56] Хенслоу, 18 мая 1832 г., Life, vol. I, стр. 208.
- [57] Хенслоу, 15 августа 1832 г., Еще письма, т. I, стр. 9.
- [58] Дневник, 29 августа 1858 г., т. XI, стр. 137.
- [59] Дневник, 4 декабря 1856 г., т. IX, стр. 158.
- [60] Жизнь, т. I, стр. 368.
- [61] Черви, стр. 97.
- [62] Происхождение, стр. 105.
- [63] В журнале Popular Science Monthly, апрель 1909 г., т. LXXIV, с. 198.

## ГЛАВА II: МЫСЛИТЕЛЬ

- [64] Бейтсу, 22 ноября 1860 г., Другие письма, т. I, стр. 176.
- [65] Фосетту, 18 сентября 1861 г., Другие письма, т. I, стр. 195.
- [66] Еще письма, том. I, стр. 93.
- [67] Жизнь, т. I, стр. 40.
- [68] Ответ на вопросник, Life, том II, стр. 355.
- [69] Жизнь Хаксли, том. I, стр. 521.
- [70] Уоллесу, 28 августа 1872 г., Life, vol. II, стр. 346.
- [71] Бальфуру, 4 сентября 1880 г., More Letters, vol. II, стр. 424.
- [72] Журнал "Бигль", стр. 378.
- [73] Уоллесу, 22 декабря 1857 г., Life, vol. I, стр. 465.
- [74] Дневник, 23 марта 1853 г., т. V, стр. 45.
- [75] Грей Кэнби, 14 июля 1874 г., Грей, Письма, т. II, стр. 649.
- [76] Грей Дарвину, 21 июля 1863 г., Грей, Письма, т. II, стр. 509.
- [77] Жизнь, т. I, стр. 79.
- [78] Фоксу, 24 марта 1859 г., Лайф, т. I, стр. 506.
- [79] Жизнь, т. I, стр. 83.

- [80] Хукеру, февраль 1846 г., Другие письма, т. I, стр. 56.
- [81] Уоллесу, 26 февраля 1867 г., Лайф, т. II, стр. 276.
- [82] Грамматика естественных наук, стр. 38.
- [83] Хаксли, 2 декабря 1860 г., Life, т. II, стр. 147.
- [84] Хукеру, 15 ноября 1855 г., Другие письма, т. I, стр. 84.
- [85] Грею, 29 ноября 1859 г., Другие письма, т. I, стр. 126.
- [86] Журнал "Бигль", стр. 443.
- [87] Жизнь, том. I, стр. 83.
- [88] Тизелтон Дайер, в "Лайфе", том II, стр. 431.
- [89] К Грею, 1857, Другие письма, т. II, стр. 252.
- [90] Хукеру, 11 января 1844 г., Другие письма, т. I, стр. 39.
- [91] Уоллесу, 1 мая 1857 г., Лайф, т. I, стр. 454.
- [92] Карпентеру, 19 ноября 1859 г., Лайф, т. II, стр. 19.
- [93] Хаксли, 27 мая 1865 г., Life, т. II, стр. 228.
- [94] Аристотель, "Анималистическая история", Книга I, глава VI.
- [95] Жизнь, том. I, стр. 126.
- [96] Хукеру, 14 апреля 1855 г., Лайф, т. I, стр. 415.
- [97] Хукеру, 26 марта 1863 г., Другие письма, т. I, стр. 474.
- [98] Генетика и евгеника, стр. 181.
- [99] Де Фриз, Виды и разновидности, стр. 769.
- [100] Разные формы цветов, стр. 156.
- [101] Грею, 3 апреля 1860 г., Лайф, т. II, стр. 90.
- [102] Zur Naturwissenschaft, Einzelne Betrachtungen und Aphorismen, section III.
- [103] Жизнь, том. I, стр. 121.
- [104] Визнеру, 25 октября 1881 г., Life, т. II, стр. 510.
- [105] Жизнь, том. I, стр. 122.
- [106] Орхидеи, стр. 208.
- [107] Хаксли, 27 ноября 1859 г., Life, т. II, стр. 75.

- [108] Насекомоядные растения, с. 154.
- [109] Грею, 8 июня 1860 г., Другие письма, т. I, стр. 153.
- [110] Хаксли Романам, 9 мая 1882 г., "Жизнь Хаксли", т. II, стр. 42.
- [111] Хаксли Фостеру, 14 февраля 1888 г., "Жизнь Хаксли", т. II, стр. 203.
- [112] Хаксли Хукеру, 9 марта 1888 г., "Жизнь Хаксли", т. II, стр. 204.
- [113] Дарвиниана, стр. 287.
- [114] Александр Агассис Гиббсу, 15 декабря 1897 г., в Г. Р. Агассис, Письма и воспоминания Александра Агассиса, стр. 333.
- [115] Дж. Дж. Стивенсон, в журнале Popular Science Monthly, апрель 1909 г., том. LXXIV, стр. 353.
- [116] 2 октября 1879 г., Жизнь, т. II, стр. 360.
- [117] 5 мая 1881 г., Другие письма, т. II, стр. 198.
- [118] Спуск, стр. 606.
- [119] 23 сентября 1868 г., Другие письма, т. II, стр. 85.
- [120] 19 августа 1868 г., Другие письма, т. II, стр. 84.
- [121] Уоллесу, 30 апреля 1868 г., Другие письма, т. II, стр. 77.
- [122] Хаксли, 12 июня 1867 г., Другие письма, т. I, стр. 281.
- [123] Животные и растения, том II, стр. 396.
- [124] Животные и растения, том II, стр. 399.
- [125] Жизнь, т. I, стр. 75.
- [126] Август Вейсман, Теория эволюции (перевод Томсона), том. I, стр. 242.
- [127] Дарвиниана, стр. 20.
- [128] Хукеру, 20 января 1859 г., Лайф, т. I, стр. 499.
- [129] Жизнь, т. I, стр. 77.
- [130] Валлери-Радо, Пастер, стр. 139.
- [131] Жизнь, т. I, стр. 71.
- [132] Лайеллю, 20 сентября 1859 г., Life, т. I, стр. 521.
- [133] Жизнь, т. I, стр. 130.
- [134] Жизнь, том. I, стр. 117.
- [135] 2 июля 1860 г., Life, т. II, стр. 116.

- [136] Лайеллю, 1 августа 1845 г., Жизнь, т. I, стр. 308.
- [137] Хукеру, 25 сентября 1853 г., Лайф, т. I, стр. 400.
- [138] Происхождение, стр. 404.
- [139] Хукеру, октябрь 1856 г., Life, т. I, стр. 443.
- [140] Хенслоу, "Жизнь", т. I, стр. 245.
- [141] Хаксли, 3 июля 1860 г., Life, т. II, стр. 117.
- [142] Жизнь, т. I, стр. 72.
- [143] Лайеллю, 1 октября 1861 г., Другие письма, т. II, стр. 191.
- [144] Zur Naturwissenschaft, Einzelne Betrachtungen und Aphorismen, section III.
- [145] Хукеру, 10 декабря 1866 г., Лайф, т. II, стр. 239.
- [146] Хукеру, 2 мая 1857 г., Лайф, т. I, стр. 454.
- [147] Дарвиниана, стр. 246.
- [148] К Де Кандоллю, 14 января 1863 г., Другие письма, т. I, стр. 234.
- [149] Хукеру, 1 апреля 1864 г., Другие письма, т. II, стр. 330.
- [150] Хукеру, апрель 1857 г., Life, т. I, стр. 450.
- [151] Хукеру, 7 марта 1855 г., Life, vol. I, стр. 405.
- [152] Хукеру, 30 июля 1856 г., Life, vol. I, стр. 439.
- [153] Хаксли, 10 января 1863 г., Другие письма, т. I, стр. 231.

### ГЛАВА III: ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

- [154] История животных, книга VIII, глава XXVIII.
- [155] История животных, книга VIII, глава XXIX.
- [156] Журнал "Бигль", стр. 216.
- [157] Хукеру, 11 января 1844 г., Life, vol. I, стр. 384.
- [158] Хукеру, ноябрь 1844 г., Другие письма, т. I, стр. 43.
- [159] Лайеллю, 11 октября 1859 г., Life, vol. II, стр. 10.
- [160] От греков к Дарвину, стр. 156.
- [161] От греков к Дарвину, стр. 233.

- [162] Лайеллю, 12 марта 1863 г., Life, vol. II, стр. 199.
- [163] Маркус Херцог, введение в бессознательную память Сэмюэля Батлера, стр. XII.
- [164] Лайеллю, 17 марта 1863 г., Life, vol. II, стр. 201.
- [165] Еще письма, том. I, стр. 37.
- [166] Журналы МИСС, ин Лайф, том. I, стр. 363.
- [167] Горацию Дарвину, 15 декабря 1871 г., Семейные письма, том. II, стр. 207.

- [168] С. 426.
- [169] 18 июня 1858 г., Life, т. I, стр. 473.
- [170] Лайеллю, 25 июня 1858 г., Life, vol. I, стр. 474.
- [171] Хукер Фрэнсису Дарвину, "Жизнь", том. I, стр. 482.
- [172] В журнале Popular Science Monthly, апрель 1909 г., т. LXXIV, с. 396.
- [173] Уоллесу, 20 апреля 1870 г., Life, vol. II, стр. 301.
- [174] Дарвиниана, стр. 286.
- [175] Животные и растения, том. I, стр. 225.
- [176] Происхождение, стр. 563.
- [177] Еще письма, том. I, стр. 2.
- [178] Жизнь, т. I, стр. 54.
- [179] Хукеру, 5 ноября 1854 г., Life, vol. I, стр. 404.
- [180] Хукеру, 13 июля 1858 г., Life, vol. I, стр. 484.
- [181] Жизнь, т. I, стр. 46.
- [182] Фоксу, 24 марта 1859 г., Life, т. I, стр. 506.
- [183] Жизнь, том. I, стр. 55.
- [184] Жизнь, стр. 71.
- [185] В жизни, т. II, с. 115.
- [186] Лайеллю, 10 апреля 1860 г., Life, vol. II, стр. 94.
- [187] Хаксли, 18 декабря 1862 г., Другие письма, т. I, стр. 230.
- [188] Великие естествоиспытатели, стр. 70.

[189] Агассис Мюррею, 2 декабря 1887 г., Г. Р. Агассис, Письма и воспоминания Александра Агассиса, стр. 228.

[190] Фальконеру, 5 января 1863 г., Другие письма, т. I, стр. 228.

[191] Хаксли, 11 апреля 1864 г., Другие письма, т. I, стр. 246.

[192] Хенслоу, 26 октября 1860 г., Другие письма, т. I, стр. 174.

[193] Уоллесу, 12 июля 1871 г., Life, II, стр. 326.

[194] Геккелю, 21 мая 1867 г., "Лайф", т. II, стр. 251.

[195] Хаксли Дарвину, 14 ноября 1880 г., "Жизнь Хаксли", т. II, стр. 15.

[196] Хукеру, 25 декабря 1859 г., Life, vol. II, стр. 46.

[197] Речь, ноябрь 1877 г., "Жизнь Хаксли", т. I, стр. 514.

[198] С. 262.

[199] Хукеру, 14 декабря 1859 г., Life, vol. II, стр. 38.

[200] Грею, 3 апреля 1860 г., Лайф, т. II, стр. 91.

[201] Хенслоу, 8 мая 1860 г., Другие письма, т. I, стр. 149.

[202] Происхождение, стр. 133.

[203] Происхождение, стр. 143.

[204] Происхождение, стр. 228.

[205] Происхождение, стр. 233.

[206] Орхидеи, стр. 257.

[207] Хаксли, 11 мая 1880 г., Другие письма, т. I, стр. 387.

[208] Дарвиниана, стр. 184.

[209] Лайеллю, 20 сентября 1859 г., Life, vol. I, стр. 521.

[210] Хукеру, 17 июня 1856 г., Life, vol. I, стр. 432.

[211] Фальконеру, 1 октября 1862 г., Другие письма, т. I, стр. 206.

[212] Происхождение, стр. 162.

[213] Хукеру, 5 июля 1856 г., Другие письма, т. I, стр. 93.

[214] Миллеру, 5 июня 1859 г., Другие письма, т. I, стр. 122.

[215] Хукеру, 30 июня 1862 г., Life, II, стр. 445.

- [216] Уоллесу, 12 июля 1871 г., Life, vol. II, стр. 325.
- [217] Хукеру, 15 июня 1881 г., Другие письма, т. II, стр. 433.
- [218] Фальконеру, 1 октября 1862 г., Другие письма, т. I, стр. 209.
- [219] Лайеллю, 26 сентября 1860 г., Другие письма, т. I, стр. 167.
- [220] Хукеру, 16 января 1869 г., Другие письма, т. II, стр. 379.
- [221] Эволюция и адаптация, стр. 231.
- [222] От греков к Дарвину, стр. 229.
- [223] 7 ноября 1875 г., Другие письма, т. I, стр. 360.
- [224] Происхождение, стр. 61.
- [225] В "Жизни", том. II, стр. 187, из "Жизни Кингсли", том. II, стр. 171.
- [226] Хукеру, апрель или май 1859 г., Life, vol. I, стр. 512.
- [227] Грею, октябрь 1865 г., Life, т. I, стр. 489.
- [228] Жизнь, т. I, стр. 82.
- [229] От греков к Дарвину, стр. 5.
- [230] Наука и современный мир, стр. 158.
- [231] Что такое эволюция, стр. 17.
- [232] Эволюция, стр. 16.
- [233] Говорит Земля, стр. 19.
- [234] Цитируется в Boston Transcript review of translation of Weber's History of Philosophy, 6 февраля 1926г.

#### ГЛАВА IV: ПРОИГРАВШИЙ

- [235] Хукеру, 13 октября 1858 г., Life, vol. I, стр. 495.
- [236] Хукеру, 17 июня 1868 г., Life, vol. II, стр. 273.
- [237] Жизнь, т. I, стр. 81.
- [238] Жизнь, том. I, стр. 81.
- [239] Жизнь, т. I, стр. 30.
- [240] Лайеллю, 22 января 1865 г., Life, vol. II, стр. 216.
- [241] Морли, 24 марта 1871 г., Другие письма, т. I, стр. 326.

- [242] Затишье, стр. 129.
- [243] Хукеру, 21 декабря 1859 г., Life, vol. II, стр. 21.
- [244] Хукеру, 27 сентября 1865 г., Life, vol. II, с. 225.
- [245] Хенслоу, 18 мая 1832 г., Life, vol. I, стр. 220.
- [246] Жизнь, т. II, с. 356.
- [247] Герберту, 2 июня 1833 г., Life, vol. I, стр. 210.
- [248] Воспоминания Чарльза Дарвина, в журнале Harper's Magazine, декабрь 1909, том. CXX, стр. 15.
- [249] Мюллеру, 28 августа 1870 г., Другие письма, т. II, стр. 92.
- [250] Журнал "Бигль", стр. 499.
- [251] Жизнь, т. II, стр. 377.
- [252] Происхождение человека, стр. 70.
- [253] Жизнь, т. II, стр. 309.
- [254] Уоллесу, 12 июля 1881 г., в Wallace, Life, vol. II, стр. 15.
- [255] Уоллесу, 12 июля 1881 г., в Wallace, Life, vol. II, стр. 14.
- [256] Лайеллю, 22 января 1865 г., Life, vol. II, стр. 217.
- [257] Краузе, с. 70.
- [258] Эмма Веджвуд мадам Сисмонди, 15 ноября 1838 г., Семейные письма, том. II, стр. 7.
- [259] Гурни, 8 июля 1876 г., Life, vol. II, стр. 364.
- [260] Семейные письма, том II, стр. 171.
- [261] Жизнь, т. I, стр. 103.
- [262] Там же.
- [263] Журнал "Бигль", стр. 112.
- [264] Жизнь, том. I, стр. 43.
- [265] Жизнь, том. I, стр. 42.
- [266] Сьюзен Дарвин, 23 апреля 1835 г., Life, vol. I, стр. 233.
- [267] Жизнь, т. I, стр. 146.
- [268] Жизнь, т. I, стр. 42.
- [269] Жизнь, т. I, стр. 81.

- [270] Жизнь, т. II, стр. 178.
- [271] Миссис Халибертон, 22 ноября 1880 г., Лайф, т. II, стр. 508.
- [272] Хенслоу, 24 июля 1834 г., Еще письма, т. I, стр. 14.
- [273] Хукеру, 17 марта 1867 г., Другие письма, т. II, стр. 2.
- [274] Риверсу, 28 декабря 1866 г., Лайф, том. II, стр. 241.
- [275] Дарвиниана, стр. 286.
- [276] Жизнь, т. I, стр. 102.
- [277] Жизнь, т. I, стр. 81.
- [278] Там же.
- [279] Жизнь, т. I, стр. 57.
- [280] Жизнь, том I, стр. 81.
- [281] Э. Б. Титченер, в журнале Popular Science Monthly, январь 1909 г., том. LXXIV, с. 47.
- [282] Causeries du Lundi, vol. IV, стр. 45.
- [283] Ньютону, 3 мая 1780 г., Переписка Уильяма Каупера (издание Райта), том. I, стр. 185.
- [284] Стихотворения (издание Globe), стр. 191.
- [285] Чайльд Гарольд, песнь III, строфа 72.
- [286] Sénancour, Obermann, p. 40.
- [287] Жизнь, т. I, стр. 95.
- [288] Миссис Дарвин, апрель 1858 г., Life, том. I, стр. 471.
- [289] Журнал "Бигль", стр. 322.
- [290] Хенслоу, 15 августа 1832 г., Другие письма, т. I, стр. 10.
- [291] Семейные письма, том II, стр. 175.
- [292] Миссис Дарвин Дарвину, 1859, Семейные письма, том. II, стр. 175.
- [293] Семейные письма, том II, стр. 201.
- [294] Журнал "Бигль", стр. 263.
- [295] Жизнь, т. II, стр. 308.
- [296] Там же.
- [297] Происхождение человека, стр. 612.

- [298] Жизнь, т. II, стр. 238.
- [299] Жизнь, т. II, стр. 237.
- [300] Уильям Дарвин, в семейных письмах, том II, стр. 169.
- [301] Выражение, стр. 219.
- [302] Журнал "Бигль", стр. 411.
- [303] Жизнь, том. I, стр. 29.
- [304] Жизнь, том. I, стр. 282.
- [305] Лайеллю, 3 сентября 1874 г., Другие письма, т. II, стр. 237.
- [306] Семейные письма, том II, стр. 253.

- [307] Ридли, 28 ноября 1878 г., Life, vol. II, стр. 412.
- [308] Грею, июль 1860 г., Лайф, т. I, стр. 284.

## ГЛАВА V: ВЛЮБЛЕННЫЙ

- [309] Нортон Раскину, 9 сентября 1868 г., Письма Чарльза Элиота Нортонна, том. I, стр. 309.
- [310] Великие естествоиспытатели, стр. 57.
- [311] Воспоминания Чарльза Дарвина, в журнале Harper's Magazine, декабрь 1909, том. CXX, стр. 13.
- [312] Фрэнсису Дарвину, 11 ноября 1887 г., "Жизнь и письма Лесли Стивена" Фредерика Уильяма Мейтленда, стр. 393.
- [313] Нортону, "Жизнь Стивена", как указано выше, стр. 300.
- [314] Фальконеру, 8 ноября 1864 г., Другие письма, т. I, стр. 257.
- [315] Нортон, Дневник, 12 апреля 1873 г., в письмах Чарльза Элиота Нортонна, том. I, стр. 477.
- [316] Кингсли - Лаббоку в "Жизни сэра Джона Лаббока, лорда Эйвбери" Горация Дж. Хатчинсон, том. I, стр. 92.
- [317] Грант Дафф, Дневник, 1873-1881, 15 декабря 1880, том. II, стр. 283.
- [318] Июль 1860 г., Еще письма, т. I, стр. 159.
- [319] 5 сентября 1862 г., Другие письма, т. I, стр. 205.
- [320] Хукеру, 23 апреля 1861 г., Другие письма, т. I, стр. 185.
- [321] Фоксу, 13 марта 1837 г., Life, vol. I, стр. 249.
- [322] Жизнь, том. I, стр. 42.

- [323] Жизнь, т. I, стр. 28.
- [324] Жизнь, том. I, стр. 49.
- [325] Жизнь, том. I, стр. 89.
- [326] Жизнь, т. I, стр. 30.
- [327] Жизнь, т. I, стр. 96.
- [328] Ответ на вопросник, Life, том II, стр. 415.
- [329] Миссис Дарвин, март 1842 г., Семейные письма, т. II, стр. 69.
- [330] Фоксу, 24 марта 1859 г., Life, т. I, стр. 506.
- [331] 28 января 1876 г., Семейные письма, т. II, стр. 221.
- [332] Хукеру, 1 сентября 1859 г., Life, vol. I, стр. 518.
- [333] Жизнь, т. I, стр. 85.
- [334] Фальконеру, 14 ноября 1862 г., Другие письма, т. I, стр. 211.
- [335] Хукеру, 29 мая 1854 г., Другие письма, т. I, стр. 79.
- [336] Жизнь, том. I, стр. 243.
- [337] Жизнь, т. I, стр. 197.
- [338] Хукеру, ноябрь 1863 г., Life, vol. II, стр. 186.
- [339] Хенслоу, 6 мая 1849 г., Другие письма, т. I, стр. 66.
- [340] Жизнь, том. I, стр. 96.
- [341] Дневник, 1892-1895, 6 августа 1892 г., вып. I, стр. 80.
- [342] Эмма Веджвуд мадам Сисмонди, 15 ноября 1838 г., Семейные письма, том. II, стр. 7.
- [343] Хукеру, 10 апреля 1846 г., Другие письма, т. I, стр. 416.
- [344] мюррею, 1859, "Жизнь", том. I, стр. 532.
- [345] Жизнь, том. I, стр. 99.
- [346] Жизнь, т. I, стр. 98.
- [347] Жизнь, т. I, стр. 99.
- [348] Воспоминания, в журнале Harper's Magazine, декабрь 1909, том. CXX, стр. 17.
- [349] Грант Дафф, Дневник, 1896-1901, том. I, стр. 307.

- [350] Жизнь, том. I, стр. 118.
- [351] Жизнь, т. I, стр. 115.
- [352] Жизнь, т. I, стр. 28.
- [353] Ноябрь 1855 г., Еще письма, т. I, стр. 87.
- [354] Хукеру, 27 сентября 1865 г., Life, vol. II, стр. 223.
- [355] Семейные письма, том II, стр. 118.
- [356] 20 января 1839 г., Другие письма, т. I, стр. 29.
- [357] Там же.
- [358] Семейные письма, том II, стр. 48.
- [359] 5 сентября 1862 г., Другие письма, т. I, стр. 204.
- [360] Еще письма, том. I, стр. 30.
- [361] Там же.
- [362] Жизнь, т. I, стр. 135.
- [363] Мадам Сисмонди, февраль 1840 г., Семейные письма, т. II, стр. 51.
- [364] Жизнь, т. I, стр. 109.
- [365] Семейные письма, том II, стр. 253.
- [366] Грэю, 23 июля 1862 г., Еще письма, т. I, стр. 202.
- [367] Дневник Томаса Мура, 29 августа 1822 г., т. III, стр. 367.
- [368] Жизнь, т. I, стр. 112.
- 
- [369] Жизнь, стр. 111.
- [370] Жизнь, том. I, стр. 115.
- [371] Жизнь, т. I, стр. 10.
- [372] Жизнь, т. I, стр. 76.
- [373] Семейные письма, том II, стр. 44.
- [374] 18 декабря 1861 г., Другие письма, т. II, стр. 281.
- [375] Уоллесу, 27 февраля 1868 г., Другие письма, т. I, стр. 289.
- [376] Жизнь, т. I, стр. 115.
- [377] Краузе, стр. 29.

[378] Жизнь, т. I, стр. 31.

[379] Жизнь, т. I, стр. 119.

[380] Жизнь сэра Джона Лаббока, лорда Эйвбери, Горация Г. Хатчинсона, т. I, стр. 40.

[381] Хукеру, 28 июля 1859 г., Другие письма, т. I, стр. 126.

[382] Хукеру, 14 апреля 1855 г., Life, vol. I, стр. 415.

[383] Хукеру, 5 ноября 1853 г., Life, vol. I, стр. 356.

[384] 11 сентября 1859 г., Life, т. I, стр. 520.

[385] Хукеру, 25 мая 1870 г., Life, vol. II, стр. 306.

[386] Мюллеру, 21 июня 1881 г., Другие письма, т. II, стр. 369.

[387] Хаксли Майварту, 12 ноября 1885 г., "Жизнь Хаксли", т. II, стр. 122.

[388] Хукеру, 2 июля 1860 г., Life, vol. II, стр. 116.

## ГЛАВА VI: РАЗРУШИТЕЛЬ

[389] Хукеру, 5 декабря 1863 г., Другие письма, т. II, стр. 337.

[390] Жизнь, том. I, стр. 279.

[391] Происхождение, стр. 145.

[392] В жизни, т. II, с. 245.

[393] К Хукеру, 13 июля 1856 г., Другие письма, т. I, стр. 94.

[394] В "Природе", 1882, т. XXVI, стр. 5, цитируется в Британской энциклопедии (издание 1884 г.), Дополнение, статья Дарвинизм.

[395] Происхождение, стр. 429.

[396] Грею, 17 сентября 1861 г., Лайф, т. II, стр. 170.

[397] Хукеру, 29 марта 1863 г., Life, vol. II, стр. 202.

[398] Происхождение человека, стр. 121.

[399] Происхождение человека, стр. 612.

[400] Происхождение, стр. 164.

[401] Происхождение человека, стр. 100.

[402] Жизнь, т. II, стр. 347.

[403] Хукеру, 9 февраля 1865 г., Другие письма, т. I, стр. 260.

- [404] Лайеллю, 21 августа 1861 г., Другие письма, т. I, стр. 194.
- [405] Грею, 22 мая 1860 г., Лайф, т. II, стр. 105.
- [406] Происхождение человека, стр. 612.
- [407] Животные и растения, том II, стр. 428.
- [408] Семейные письма, том II, стр. 196.
- [409] Шерцеру, 26 декабря 1879 г., Life, vol. II, стр. 413.
- [410] Август Вайсман, Теория эволюции (перевод Томсона), том. II, стр. 364.
- [411] Выступление по случаю столетия Дарвина, в "Современном обозрении", июль 1909 г., том. XCVI, стр. 21.
- [412] Герберт Спенсер, Автобиография, том II, стр. 548.
- [413] Говорит Земля, стр. 63.
- [414] В "Бостон Геральд", 3 июня 1926г.
- [415] Затишье, стр. 146.
- [416] Субботнее литературное обозрение, редакционная статья, 29 мая 1926г.
- [417] Преподобный Чарльз Г. Финни, Мемуары, написанные им самим, стр. 171.
- [418] Jules Lemaître, Impressions de Théâtre, vol. IV, с. 114.
- [419] Жизнь, т. II, с. 239.
- [420] Ответы на вопросы, в "Бостон Геральд", 4 января 1926г.
- [421] Хукеру, 19 января 1865 г., Другие письма, т. I, стр. 260.
- [422] Эволюция, стр. 247.
- [423] Конклин, Эволюция, стр. 240.
- [424] La Grande Duchesse de Gérolstein, act IV, scene 3.
- [425] Palinodia.
- [426] La Ginestra.
- [427] Эрнест Ренан, Философские драмы, стр. 174.
- [428] Эрнест Ренан, Философские драмы, стр. 178.
- [429] Сам Анатоль Франс, автор Дж. Дж. Бруссон (перевод Поллока), стр. 71.
- [430] Таинственный незнакомец, стр. 150.
- [431] Sopra un Basso Relievo Antico Sepolcrale.

## ГЛАВА VII: НАУЧНЫЙ ДУХ

[432] Скотту, 6 июня 1863 г., Еще письма, т. II, стр. 323.

[433] Хаксли, Другие письма, т. I, стр. 125.

[434] Хукер о Дарвине, Жизнь, том. I, стр. 315.

[435] Хаксли, 20 июля 1860 г., Другие письма, т. I, стр. 158.

[436] Гюнтеру, 15 мая 1870 г., Life, vol. II, стр. 303.

[437] Дорну, 4 января 1870 г., Другие письма, т. II, стр. 444.

[438] Наука и современный мир, стр. 255.

[439] Статья Дж. Э. Гарри о Елене Еврипида в "Журнале американской филологии", октябрь 1925 г., том. XLVI, стр. 332.

[440] Речь на юбилейном обеде Королевского общества, 1894, Хаксли, Лайф, том. II, стр. 413.

[441] Хукеру, 28 июля 1868 г., Другие письма, т. I, стр. 305.

[442] Фаррару, 28 августа 1881 г., Другие письма, т. I, стр. 394.

[443] Хукеру, 3 марта 1860 г., Life, vol. II, стр. 85.

[444] Лаббоку, 12 ноября 1859 г., Life, vol. II, стр. 14.

[445] Карпентеру, 19 ноября 1859 г., Life, vol. II, стр. 19.

[446] Мадам д'Эпине, 6 июля 1766 г., Переписка Вольтера (издание 1881 г.), т. XII, с. 329.

[447] К Хукеру, 1856, Другие письма, том. I, стр. 90.

[448] Визнеру, 25 октября 1881 г., Life, vol. II, стр. 508.

[449] Бентаму, 25 ноября 1869 г., Другие письма, т. I, стр. 379.

[450] Уилсону, 5 марта 1879 г., Дополнительные письма, т. II, стр. 422.

[451] Дарвин Уоллесу, 8 августа 1872 г., Life, vol. II, стр. 348.

[452] Валлери-Радо, Пастер, стр. 22.

[453] Хенслоу, 1 апреля 1848 г., Другие письма, т. I, стр. 61.

[454] Portraits Littéraires, vol. III, стр. 546.

[455] Порт-Рояль, том. I, стр. 55.

[456] Causeries du Lundi, vol. II, стр. 268.

[457] Portraits Contemporains (1882), vol. V, стр. 461.

[458] Portraits Littéraires, vol. III, стр. 543.

[459] Portraits Contemporains (1882), vol. V, стр. 465.

[460] Portraits Contemporains (1882), vol. V, стр. 464.

[461] Portraits Littéraires, vol. III, стр. 543.

[462] Journal des Goncourts, vol. II, с. 134.

[463] Беседы с Эккерманом, процитированные в книге Уильяма Джеймса "Разновидности религиозного опыта", стр. 137.

[464] Порт-Рояль, том. VI, стр. 245.

[465] К Гельвецию, 5 января 1740 г., Корреспонденция (издание 1881 г.), т. III, стр. 356.

[466] Цитируется Сент-Бевом, Causeries du Lundi, vol. VII, с. 47.

[467] Тристрам Шенди, Книга VII, глава XXXIII.

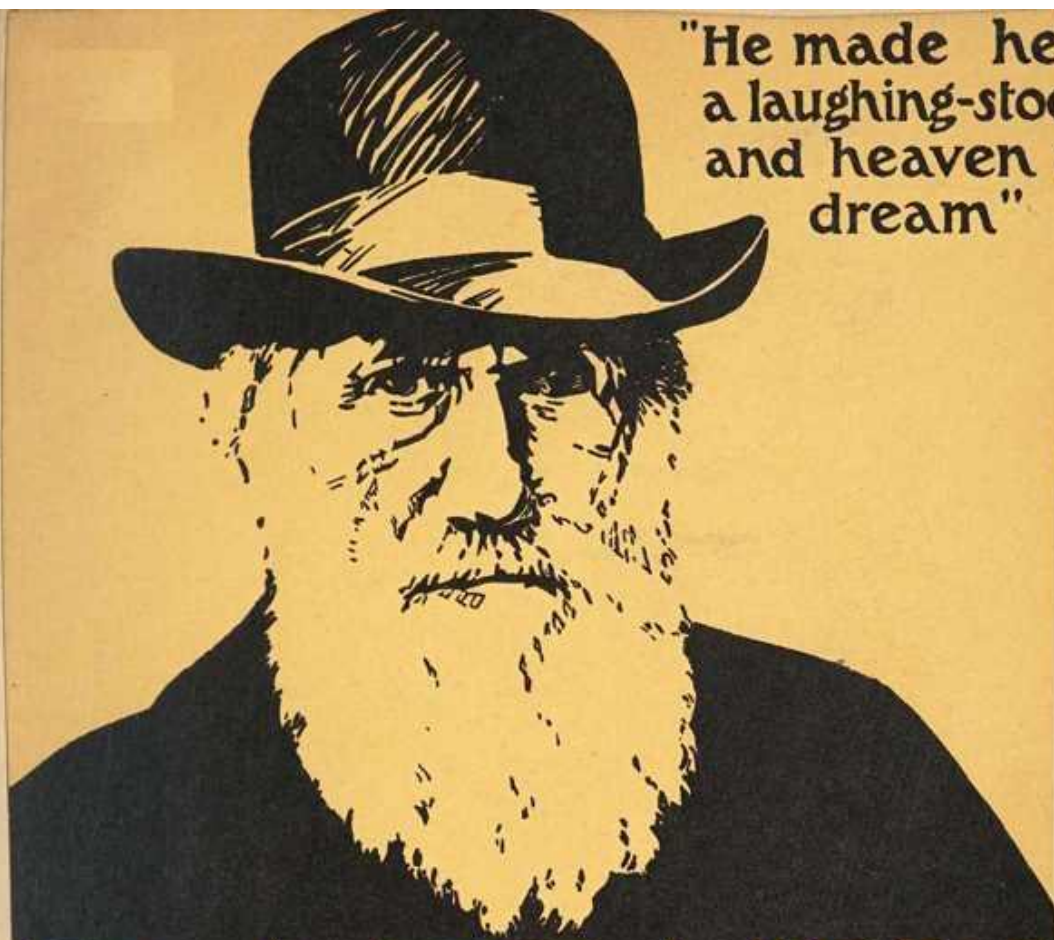
[468] Maximen und Reflexionen, chapter III.

[469] Journal de Henri Frédéric Amiel, vol. I, стр. 129.

[470] Открытия в работах Джонсона (издание Каннингема), том. III, стр. 401.

[471] Гомеровские эпиграммы (издание Баумейстера), В.

"He made hell  
a laughing-stock  
and heaven a  
dream"



# DARWIN

BY

## GAMALIEL BRADFORD

The life story of a gentle, tolerant, and lovable man who overturned the world of thought, shifted the whole attitude of science, and upheaved the very foundations of religion and morality.

HOUGHTON MIFFLIN  
COMPANY

R. F. Cosimini

## Примечания переписчика

- статья 120 Изменена: оправдывает любую предыдущую неоправданную настойчивость на: оправдывает любую предыдущую неоправданную настойчивость
- страница 241 Изменено: Ницше превратился в облачный и колоссальный фантом на: Ницше превратился в облачный и колоссальный фантом